Л 1665
95

БИБЛИОТЕЧКА
МОЛОДОГО РАБОЧЕГО
ДОНБАССА

П. ЧЕБАЛИН

ПОЛВЕКА В ШАХТЕ

СТАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖНО-ГАЗЕТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1947

1565/95

ПЕТР ЧЕБАЛИН

ПОЛВЕКА В ШАХТЕ

СТАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КНИЖНО-ГАЗЕТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1947

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
935331

I

Было ли наше детство безрадостным, неуютным или протекало оно так, что ни одно ненастное облачко не бросало на него свою тень,— мы всегда ясно помним его.

Больше полвека тому назад прошло детство Евдокии Федоровны Королевой. Однако, это не мешает ей видеть себя—босоножку в грубом пестрядном платьице, бледнолицую, с светлыми глазами. Она всегда и на все смотрела с каким-то пытливым упрямством и в то же время настороженно—тревожно, точно каждую минуту ждала удара жестокой судьбы.

Такими же Евдокия Федоровна помнит своих маленьких сестер—Ксению, Елизавету и братишку Никиту. Такими были и ее подруги.

Рассказывает о своем детстве Королева не торопясь. Взгляд ее задумчивый, далекий...

* * *

В конце апреля, когда в лучах яркого солнца тает последний снег и на холмах и пригорках поднимается прозрачная весенняя дымка, дети шахтеров высыпают на улочку поселка. Вначале они молча и недоверчиво, словно чужие, смотрят друг на друга. Зимой им редко приходится бывать вместе. Разве только по вечерам, когда семьи шахтеров собираются дома. В это время можно одеть отцовские чуни, поношенную шахтерку и украдкой выбежать на улицу. Такие минуты выпадают редко. Чаще же приходится сидеть в землянке и слушать, как тоскливо завывает ветер в трубе и ломится в маленькое кривое оконце с такой силой, что кажется: вот-вот стеклышко не выдержит, и тогда лихой снежный ветер весь, сколько его есть на улице, ворвется в землянку и унесет ее бог весть куда...

Совсем не то весной. Пусть еще не всюду сошел снег, но уже веселые студеные ручьи бегут по кривым, замусоренным улочкам поселка. То не беда, что они холодные.

Детские ноги не привыкли к теплу. Они никогда не ходили по деревянному полу, и пригретая весенним солнцем земля, пусть еще мокрая, все же она теплее, чем пол землянки.

Подобрав длинные полотняные рубахи, дети шахтеров с радостным криком бегают по ручьям, разбрасывая мутные студеные брызги. Маленькая тесная улочка наполняется плеском воды, громким плачем обиженных, криком матерей.

— Да уймись же ты, окаянный! Гляди, как подол захлыстал.

А другая мать кличет не докличется:

— Ванька, а Ванька!...

Ответа нет.

— Ну, погоди ж ты, стервюга этакий!

Случается, что какой-нибудь шахтер, черный от угольной пыли, с большой окладистой бородой, в задумчивости остановится возле детей. Положит шахтер жилистые свои руки на обушок, точно на палку, и, подумав, скажет:

— Гуляйте, балуйте. Только и вашего...

И уйдет своей дорогой. Какую думу унес он с собой— детям нет до этого дела.

Лет одиннадцати, смуглолицая девочка, с копнушкой сбитых непослушных волос на голове, в такой же, как и у всех ее подруг, длинной посконной сорочке бегала по ручьям взапуски с мальчишками. Когда кто-нибудь из более прытких настигал ее и она не уступала ему дорогу, шалун нарочно загребал ногами побольше воды и обдавал ее всю с ног до головы. Даже не вскрикнув от неожиданности, она, бойко размахивая то одной, то другой ногой, посылала в ответ ему столько брызгов, что мальчишка, уронив подол сорочки, с трудом уносил ноги.

Это была Дуня. Сухонькая, юркая, с быстрыми светлыми глазами, которые уже тогда пристально, по-взрослому смотрели на мир, она во многом отличалась от своих подруг. Ее любили и в то же время боялись. Дуня часто, даже с охотой, ввязывалась с мальчуганами в уличные потасовки. И хотя ей попадало „на орехи“ всегда больше, чем кому-либо другому, она никогда не плакала и только, сердито насупившись, говорила:

— Худо, что я одна девка, а вас, басурманов, вон сколько. А то б...

И, не договорив, медленно, с нарочитой развалкой шла

к землянке. Вся ее тоненькая, прямая как тополек фигура в эту минуту, казалось, кричала: „Хоть и побита, а не сдалась!“.

Дуня часто ходила в город Юзовку. Бывала она и на соседних шахтах.

Кажется, всюду окрест побывала маленькая Дуня, все видела, все соседние шахты были хорошо знакомы ей. А вот на высокий террикон еще ни разу не взбиралась. А как охота! Она часто вспоминала сказку отца о том, как человек, чем выше взбирался по каким-то непонятным ступеням жизни, тем легче было ему дышать, тем шире видел он край земной, лучше разумел его. Человек этот и теперь еще взбирается на гору, как утверждал Федор Никифорович, и будет взбираться долго—долго, пока не скопится в нем столько силы, чтобы можно было крикнуть всему миру:

— Не годится все это! Другого желаю!..

Девочка надолго запомнила эти слова из сказки. В устах отца они звучали гневно и так громко, что она, слушая его, невольно зажимала ладошками уши.

Дуня взбиралась по крутому склону породы, еще влажной от недавно растаявшего снега. Издали террикон представлялся ей не таким уже и высоким. Казалось, она одним духом взберется на его вершину. Но не прошло и несколько сажней, как ноги стали подкашиваться, увязая в размякшем глею. Дуня часто останавливалась и, запрокинув голову, искала глазами вершину террикона. Странно, ей казалось, что верхушка террикона все удалялась, почти касаясь белых пушистых облачков.

Девочка долго смотрела вокруг, прижав козырьком грязную ладошку к глазам. Сразу она не узнала ни своей Собачевки, ни соседних шахт. Но постепенно начинала угадывать родной поселок.

Отсюда, сверху, домики были похожи на семейку грибов, разбросанных в беспорядке. Немного поодаль от родного поселка стоял такой же поселочек—„Шанхай“, а еще дальше—домики шахты № 17. Вокруг же—степь, широкая и такая необозримая, что дух захватывало. А небо! Столько его еще никогда не видела Дуня. Нет, отец все же был прав. Человеку, который взбирается подальше от земли,—куда легче жить. Он не видит грязных землянок, его не дразнят и не бьют мальчишки и отец его, наверно, не работает целый день в шахте и мать не бьется в нужде, как

рыба об лед. Но тогда почему же этот человек рано или поздно должен крикнуть, как говорил Федор Никифорович, всему миру: „Не годится все это!".

Какое ему дело до того, что у Дуни темная, покосившаяся землянка и нет ни обувки, ни одежки. Разве человеку этому видно сверху, как живется ей? Да и зачем ему кричать эти сердитые слова, портить отношения с приставом Львовым и управляющим шахтой Вирте? Зачем? Ведь и тому, и другому не понравится это. Лучше б удалялся себе подальше от земли молча, чтоб не видеть ни Собачевки, ни пристава Львова. Если бы Дуня была на месте этого загадочного человека из сказки, она только бы так и поступила.

Дуня долго еще смотрела вокруг, но уже не испытывала того волнующего чувства, какое было у ней в первую минуту, когда взошла она на верхушку террикона. Ей так или иначе придется спускаться вниз, так и не разгадав тайны мудрой отцовской сказки. В эту минуту она пожалела, что голос у нее не такой громкий, как у отца, а то бы она непременно крикнула отсюда, чтобы далеко-далеко было слышно:

— Не желаю туда! Не хочу этих землянок!

II.

Дверь была низкая и Федор Никифорович, отец Дуни, входя в нее, сгибался почти пополам. Вокруг землянки и даже на ее крыше рос высокий полын. Тощая, с темной от угольной пыли листвой акация бросала жиденькую тень в маленький дворик. Федор Никифорович, прийдя с шахты поздно вечером, часто не раздеваясь, отдыхал под этим одиноким деревцом.

Однажды он вернулся с работы раньше обычного. Мать, заметив его в окошко, вышла навстречу. Остановившись у двери, она с тревогой смотрела на мужа. Что-то недоброе было в его походке и во взгляде, который бросал он из-под насупленных бровей. Увидев Ахимию Ивановну, он с силой бросил обушок наземь и сказал с негодованием:

— К дьяволу эту работу! Денно и нощно трудиться за гроши на этого пса-иноземца—дураков нет.

Мать все так же молча, с нескрываемой душевной болью и тревогой смотрела на мужа. Она догадывалась,

что француз Вирте придумал какую-то очередную каверзу.

— Обещал за работу целковый, а как получать—изволь полтину. Дураков нет!—все так же злобно заключил он и сел на земляной порожек.

— А как же дети, Федя?...—робко вставила мать.

Отец промолчал и только еще ниже опустил голову. Ахимия Ивановна подошла ближе к нему:

— Сегодня Обух отказал в долг провиант, — сказала она упавшим голосом.—И так, говорит, набрались, хватит. Детишки голодные с утра...

Обухом называли в поселке владельца бакалейной лавочки. Настоящая же его фамилия была Обухов. У него можно было брать в долг и хлеб, крупу, и—при желании—даже водку. По истечении месяца список должников Обухов отсылал в шахтную контору, где каждую получку высчитывалась с них обозначенная Обуховым сумма. Лавочник всегда насчитывал лишнее. Рабочие проклинали его за-глаза на чем свет стоит. Однако не ссорились с ним, так как у шахтеров всегда нехватало денег до получки и Обухов почти каждого „вызволял из беды".

Посидев еще несколько минут молча, Федор Никифорович, медленно расстегнув ворот полотняной сорочки, снял с груди маленький оловянный крест, который каким-то чудом оставался чистым на запыленном теле, и сунул его в руку жене.

— Отнеси Обуху,—сказал он мрачно и так, словно посылал мать сделать что-то нехорошее, противное ему и ей.— Он знает мое благословение. Чего-нибудь даст...

Ахимия Ивановна молча пошла со двора.

Дуня весь этот разговор слышала, сидя в землянке. И когда часа два спустя семья сидела за низким дощатым столом, на котором в большой глиняной миске было доверху насыпано вкусно пахнувшего кулеша, она невольно нащупала на груди у себя крест. Такие крестики были у матери, у сестры и у брата Никитки. По ее подсчетам их было целых шесть, кроме отцовского. Это много. „Теперь будет за что брать и крупу и хлеб"—решила она.

III.

На следующее утро Федор Никифорович все же поддался уговорам жены, пошел на работу. Дуня видела, с какой неохотой натягивал он на себя одежду. Движения его

были медленны, словно делал он все в полусне. Постояв минуту у порога, задумчиво поглаживая гладкую рукоятку обушка, Федор Никифорович вдруг широко перекрестился и вышел из землянки.

Пока мать стряпала, дети спали, разбросавшись в углу на рядне. Дуня лежала и думала о своем маленьком оловянном крестике. Он крохотной льдинкой лежал у нее на теле. Она еще вчера решила отнести его Обуху и уже рисовала в своем детском воображении, как принесет хлеб, крупу, а, возможно, и конфет. Все это она отдаст матери, только ни за что не скажет, где взяла.

Улучив минуту, когда мать завозилась у плиты, Дуня выбежала на улицу. Было светло, но солнце еще не взошло. Ясное голубое небо стеной поднималось откуда-то из-за шахты и, высоко-высоко взметнув вверх, плавно опускалось где-то далеко за спиной Дуни.

У лавчонки уже собрались женщины. Створчатая тяжелая дверь была на замке. Когда пришел Обухов, все молча расступились, пропуская его к двери. Он долго звенел связкой ключей, точно никак не мог найти нужный ему. Женщины безмолвно следили за каждым его движением и на их лицах было такое выражение, словно они боялись, что Обухов не отыщет нужный ключ. Но вот щелкнул замок, загремела железная перекладина, и дверь широко распахнулась. Изнутри дохнуло густым запахом хлеба, рыбы, керосина и еще чем-то таким, что всегда отличает бакалейную лавку от других.

Дуня протискалась в дверь и, стараясь казаться незаметной, прижалась к прилавку. Обухов, грузный, лет сорока пяти человек, некоторое время с деловитой важностью ходил за прилавком, засучивая рукава, словно готовился к какому-то большому, серьезному труду. Уловив момент, когда лавочник взглянул за прилавок, Дуня подала ему крестик. Обухов остановил на ней свой тяжелый взгляд.

— Тебе чего, кутенок?—спросил он сердито.

Девочка молчала. Обухов разжал ее кулачок и извлек из него маленький оловянный крест с распятием. Он держал его за шнурок двумя пальцами, явно удивленный.

— Это зачем же мне крест?—спросил он.

— Хлебца за него, если можно, дяденька.

— Что, что?

Обухов даже перегнулся через прилавок от удивления.

Белесые круглые глаза его показались Дуне большими, как блюдца.

— За это хлебца! Кто же тебя послал, кутенок? За душевный крест хлебца!—задыхаясь бормотал он и был так раздосадован, что Дуня в страхе подумала: вот он сейчас перегнется через прилавок, загребет ее своими огромными ручищами и она уже никогда не вернется домой. Но лавочник не сделал этого. Лицо его вдруг скривилось в улыбке, глаза снова сузились, стали маленькими и такими острыми, что Дуне больно было смотреть на них. Он вложил крест обратно в руку девочки, сам сжал ее пальцы в кулак и резким движением оттолкнул ее.

— Иди с богом, да скажи матери, что с душевным крестом шутить великий грех.

Женщины уступили дорогу девочке, и она опрометью кинулась в двери.

Тогда же, вспоминая о крестиках сестер и братишки, Дуня с огорчением думала, что напрасно они их носят. Все равно Обух не даст за них даже фунта хлеба.

IV.

Иногда вечерами, сидя на пыльной траве, неподалеку от землянки, Дуня видела, как подруги, постарше ее на год —два, возвращались с шахты. Лица у них были черные от угольной пыли и только зубы да белки глаз ярко светились. Подруги считались взрослыми и проходили мимо с таким независимым видом, словно им не было до нее дела. Дуня всегда завистливым взглядом провожала их. В такую минуту ее нисколько не смущали ни грязная одежда, ни запыленные, с ввалившимися щеками лица и даже то, как девочки—шахтерки шли неспеша, усталой походкой взрослых. Она знала одно: девочки работают, помогают, родным и уже сами ходят в лавку Обуха и там с ними считаются, как с равными.

Иногда, отбившись от подруг—однолеток, она пробиралась на шахту, к эстакаде. Грохот железных вагончиков вначале пугал ее. Пугали и люди, вечно молчаливые, угрюмые, как будто за что-то сердитые друг на друга.

Однажды высокий, с широкой темной бородой и с сухими, острыми плечами стволовой, увидев Дуню, ласково поманил ее к себе. Он стоял у ствола, только что отправив клеть на дно шахты.

— Иди, иди, не бойся,—сказал он.

Дуня хотела было убежать, но, заметив в его глазах

улыбку, смело подошла к нему. Стволовой положил ей на голову тяжелую руку, спросил:

— Работать, небось, закортило?—и чему-то загадочно улыбнулся.

Дуня промолчала. Стволовой ловко подхватил ее на руки и сел на обрубок дерева, который лежал тут же неподалеку.

— Успеешь еще работать,—говорил он мечтательно.

Дуня заметила, что стволовой смотрит куда-то в сторонку и разговаривает будто не с ней, а с кем-то другим.

— Тяжкий этот труд, малютка. Тяжкий. Год поработаешь и про детство—молодость забудешь. И телом и душой состаришься. Уж я это знаю...

Он немного помолчал, обводя все вокруг медленным взглядом, точно искал кого-то.

— Вчера у нас в шахте Нюру Бокову вагончиком придушило. Только и успела айкнуть. А ей-то всего тринадцать годочков. Жить бы... А оно, видишь, как вышло...

И снова умолк, погрузившись в какую-то свою тяжкую думу.

Дуня знала Анюту Бокову. Это была резвая, быстроногая девочка. Ее так и звали в поселке: Нюрка-быстроножка. А вот то, что ее придушило в шахте—слышала об этом впервые.

— А придушили-то как ее, дядя?

Она жадно ловила взгляд стволового. Но он все так же смотрел поверх ее головы, неподвижным взглядом и, казалось, совсем забыл про Дуню. Но вот он медленно погладил ее волосы, осторожно снял ее с колен и вдруг сердито сказал:

— Больше чтоб сюда не ходила, слышишь? А ну-ка марш домой!

Дуня испугавшись, отбежала в сторону. Что случилось с этим человеком? Почему он вдруг рассердился? Так и не узнав причины, она убежала с эстакады.

Как-то Дуня познакомилась на шахте с выборщицами породы. Работа выборщиц ей казалось не особенно тяжелой. Понравилось ей, что и дети и взрослые здесь были всегда вместе. Дуня несколько раз пробовала помогать выборщицам. Ей это легко удавалось. Да, собственно, работа эта не требовала особой мудрости. Знай только одно: уголек не трогай, а породу выбрасывай да выбрасывай в сторону...

V.

Несколько дней Федор Никифорович лежал больной. Лицо его стало неузнаваемым за эти дни. Вглядываясь в его глубоко запавшие задумчивые глаза, обострившиеся скулы, Дуне было нестерпимо жаль отца. Она видела, что ему очень больно, но он не стонал и, казалось, никогда не смыкал глаз и все время смотрел в потолок землянки. Федора Никифоровича придавило в забое. Дуня слышала от других, что на отца навалился огромный „корж", из-под которого он едва выбрался. Домой его привел знакомый уже Дуне стволовой. Он сказал матери:

— Принимай. Твой, ведь, кормилец. — И, помолчав, добавил: — Сильный он у тебя, кость у него крепкая, должен выжить. Приварок бы ему хороший да...

И, недоговорив, вдруг, сокрушенно махнул рукой, и быстрым шагом пошел со двора.

Первые несколько дней Федор Никифорович не принимал пищи. Тогда мать принялась тихо плакать у его постели, причитая:

— Что же это ты задумал, кормилец наш? Детей-то ведь сколько... Куда мне с ними?...

А Федор Никифорович смотрел своими неподвижными, увеличенными болезнью глазами, в потолок и, казалось, не слышал ее причитаний.

Только на третий день он с'ел немного кулеша. Облизывая деревянную ложку, как и всегда делал заканчивая еду, он сказал матери:

— Сходила бы за получкой. Нынешнего дня должны платить.

Голос его был глухой, надломленный. Если бы Дуня не видела, что это говорит ее отец, она ни за что бы не узнала его.

Вместе с матерью в контору пошла и Дуня. Когда они подошли к шахте, там уже собралось много рабочих. Одни стояли молча, другие — те, которые уже побывали у окошка конторы, шумели, кому-то угрожая...

— Кровопийцы!

— Последнюю шкуру дерут с рабочего человека!

Кто-то в толпе ругался скверными словами и сыпал такие угрозы по адресу артельщиков, что Дуня в страхе прижималась к матери, утонув в ее юбке. Шум все нарастал, ширился и, не появись в это время артельщик

Бушкет, гнев людей вероятно, разросся бы в целую бурю. Заложив руки за спину, артельщик медленно, развалистой походкой подошел к конторе. На нем был белоснежный, заботливо выглаженный пиджак и круглый, с большим лакированным козырьком картуз. Обрамленное темной окладистой бородой, крупное лицо его чему-то загадочно улыбалось. Заметив „начальство" толпа разом, точно по уговору, умолкла. Некоторое время безмолвно стоял и Бушкет, обводя всех пристальным изучающим взглядом.

Небольшого роста шахтер отделился от толпы и, не сводя глаз с вытянутой ладони, на которой у него лежали вперемежку серебряные и медные монеты, подошел к Бушкету.

— Что ж это выходит — пять рублей за месяц? — Шахтер впился в артельщика острым взглядом, словно хотел пронзить его насквозь.

— Чего ж гневаться, землячушечка моя? Сколько заработал — все твое.

Бушкет проговорил мягким голосом, почтительно улыбаясь и вздыхая. Его глаза щурились и не хотели смотреть прямо.

— Пять рублей за месяц? Мыслимо ли такое. Семья-то, ведь, у меня, — жаловался шахтер.

— А это уж не мое дело, землячушечка. Семья не моя — твоя.

И помолчав немного, вдруг спросил:

— В лавочку к Обухову, небось заглядываешь? Водочку в должок берешь, хих-хи-хи, — захихикал он, многозначительно грозя пальцем, — берешь водочку — вижу. И крупицу, небось, брал и хлеб. А платить что ж — я за тебя буду?

— Не брал, крест святой — не брал, — клялся шахтер, все еще держа монеты в вытянутой ладони, словно хотел, чтобы и это последнее забрал у него артельщик.

Постепенно осмелев, шахтеры окружили артельщика.

— Вот Караулов — тоже непьющий, — говорил все тот же шахтер, указывая на высокого, молчаливого рабочего, который стоял тут же рядом, — Караулов в рот не берет сивухи, все это знают, а заработал меньше моего.

На лицо подрядчика как-будто упала тень. Оно вдруг стало угрюмым, глаза метнули искры.

— А ты за других не расписывайся, — сказал он. — Другие сами за себя скажут.

И уже обращаясь к Караулову с прежней сладенькой улыбкой, протараторил:

— За обушок да за зубок с тебя положено, Караулов. — И сам же ответил: Положено. И за лопату причитается. А все, ведь, это денежки стоит. Лопату да обушок мне даром никто не дает. Вот и выходит — получка у тебя вроде б маловата.

— Да больно уж дорого стоят твои зубки да обушки, — мрачно отозвался Караулов.

— Дорого — имей свои, — решительно сказал артельщик и, сделав полуоборот, нервным шагом обошел толпу и направился в контору. Когда Бушкет скрылся за дверью, Караулов сказал коротко и резко:

— Собака!

Ахимия Ивановна получила за мужа семь рублей. Это — за месяц работы. Спрятав деньги в пазуху, она всю дорогу шла молча, и на ее лице было такое же выражение как у забойщика Караулова: злое, угрюмое. Дуне все время казалось, что мать вот-вот скажет:

— Собака!

VI.

Проходили дни, а Федор Никифорович все еще не поднимался с постели. Теперь семья жила только на заработок Ахимии Ивановны. Она мыла полы у конторских служащих и за это получала гривну. Бывали дни, когда в доме не было даже куска хлеба, и маленькая Дуня снова начинала думать о работе. Когда она, наконец, не утерпела и сказала матери о своем намерении работать на выборке породы, та долгим взглядом посмотрела на дочь, вытерла фартуком слезы на глазах и ничего не ответила. Отцу же Дуня не решалась открыть свою тайну. Она боялась, что он станет ругать ее.

* * *

Управляющим шахтой № 30 был француз Вирте. Дуня несколько раз видела его, когда он под'езжал к шахтной конторе на линейке с крыльями, выкрашенными в черный лак. Сытые вороные кони, круто забирая ногами, казалось, каждую минуту норовили оторваться от земли. Если бы их не сдерживал кучер, огромный детина, опоясанный радужным кушаком, кони непременно взлетели бы в воздух вместе с линейкой и французом. Девочке никогда не случалось

близко подходить к иностранцу. Она хорошо знала, что это был самый сильный человек на шахте, ему все кланялись, уступали дорогу, все о нем говорили таинственно, со страхом, словно боялись, что он может подслушать. И вот к этому человеку ей надо было итти проситься на работу.

Дуня упала перед управляющим на колени, когда он только-что вышел из конторы. Француз удивленно посмотрел на девочку и, молча обойдя ее, спросил у сопровождавшего его штейгера:

— Это что еще значит? — Тонкие розовые губы его при этом дрогнули.

— Просится на работу,—ответил штейгер. — Семья у них большая—семь душ, отца придавило в шахте. Она самая старшая...

Француз резко оборвал его на полуслове:

— А сколько ж ей лет?

—Одиннадцать.

— Ха! — всей грудью выдохнул из себя короткий странный звук Вирте. — Интересные у вас порядки... — продолжал он, — зачем же пускать в шахту детвору?

И, видимо, совершенно не интересуясь что ответит ему штейгер, решительно зашагал в сторону от конторы.

Управляющий и штейгер скрылись где-то в шахтном дворе, а Дуня все еще не могла подняться с места. Она не понимала, почему ей отказали в работе? Ведь таких, как она, на шахте очень много. Чем же она хуже других?

— Эх ты, босоногая, — вдруг услышала она и быстро вскочила на ноги,—разве у француза просятся на работу? Шла бы к артельщику. Его это дело принимать людей в шахту. Иди и молись у него.

Перед Дуней стоял незнакомый шахтер. На запыленном черном лице его поблескивали глаза и ряд белых крупных зубов. Дуня вспомнила подрядчика Бушкета, его лосьнящуюся потную улыбку, ехидное причитание „землячушечка“ и то, как забойщик Караулов сказал о нем гневно: „собака!“. И ей вдруг стало так страшно видеть этого человека, что по всему ее телу пробежала холодная дрожь. Ни слова не ответив шахтеру, она бросилась от конторы в поселок.

Однако, на другой день Дуня все же пошла к артельщику Бушкету.

— Иди на выборку породы, — сказал он ей,—только ни обувки, ни одежки нет у меня.

Хотя и строго говорил артельщик, но слова его не испугали Дуню. Обрадовавшись, что он не отказал в работе, она хотела уже бежать к эстакаде, как Бушкет остановил ее.

— Погоди ты, черноногая! Говори всем, что тебе не одиннадцать, а двенадцать лет. Поняла?

Дуня утвердительно кивнула головой.

— Ну, а теперь марш,—скомандовал он строго.

С того времени она почти каждый день видела артельщика у эстакады. Он приходил проверять хорошо ли выбирают породу из угля. Бушкет всегда был чем-то недоволен, бранился, грозил расчетом, штрафами и нередко давал волю рукам. Дуня заметила, что ни детей, ни женщин он не боится. И только, когда говорил с шахтерами, снова пускал в ход свое слово „землячушечка" и на лице его играла сладенькая улыбка. На шахте попрежнему называли Бушкета злобным именем: собака.

VII.

Тяжкий, немыслимо тяжкий труд шахтера. Об этом знала Дуня и прежде, видя каким отец возвращался с шахты после двенадцатичасового рабочего дня: усталым, с ввалившимися глазами и вечно молчаливый, будто вместе со своей силой он истратил на работе и все свои слова. Но тогда она со стороны видела, как тяжко работать в шахте. Теперь же каждый день на себе испытывала этот труд. Ей уже хотелось, чтоб отец побыл еще дома. Пусть лежит. Будь она проклята, эта шахта!

... Уголь то и дело сыплется с эстакады, его уже скопилась целая гора. Дуня выхватывает из поблескивающей россыпи сизые куски породы, большие и малые, и отбрасывает в сторону. То же самое делают и ее подруги. Вот снова высыпали уголь из вагонетки, и черная тяжелая туча пыли застилает глаза. Пыль оседает на голову, руки, набивается в уши, в рот. Тяжело дышать, но работать надо. Артельщику Бушкету нет дела до того, что у женщин и детей уже красные от едкой пыли глаза, кровоточат пальцы на руках, подкашиваются ноги от усталости. Ведь не даром же они получают три рубля в месяц. Где еще они могут заработать такую сумму? В деревне у хозяина? Но там тоже не мед.

Работала Дуня на выборке породы от зари до зари. В первые дни мать будила ее, разгоняя сладкий детский сон

уговорами. Позже она уже просыпалась сама и уходила на работу, когда в землянке все еще спали.

Когда в первый раз Дуня принесла получку, Федор Никифорович подозвал ее к себе и, гладя ее голову тяжелой ладонью, долго и молча смотрел на дочь. В его затуманенных болезнью глазах не было даже тени радости. Одна только душевная боль. И Дуня решила: „Не нравится ему моя работа". Но ничего не сказала.

В то время Дуне исполнилось 11 лет. Детство! Безрадостным, горьким было оно у Королевой, как и у всех ее подруг. Да иным оно и не могло быть в то страшное дореволюционное время.

Нашему советскому человеку, детство которого прошло в годы Октября, совсем другим помнится оно. Это пора, когда мир родного Отечества начинает раскрываться перед твоим жадным взором, когда по-настоящему начинаешь понимать разумное волшебство книг и когда все с надеждой смотрят на тебя и радуются, что ты живешь, верят, что из тебя непременно должен выйти полезный для Родины человек. И хотя ты еще не вполне сознаешь все это, но уже начинаешь понимать, что в чудесном родном краю все пути—дороги открыты для тебя. И остается только одно: выбрать свою и итти по ней. Итти и итти к большой жизни, к большому счастью. А когда тебе вдруг станет трудно, люди помогут, потому что ты член одной семьи, все заботливо следят за каждым твоим шагом, желают тебе удачи, так как твоя удача—это удача всех и всех она одинаково радует.

Дуня считала своей удачей поступление на работу. Но она не видела, чтобы это радовало отца или мать. Наоборот, они с нескрываемой тоской и тревогой следили теперь за каждым ее шагом. Было похоже, что их дочь изо дня в день все дальше уходила от них. И они ждали, что придет такое время, когда она уйдет навсегда...

... Густая угольная пыль застилала свет. Она плыла перед глазами Дуни даже во сне, замыкала и без того тесный безрадостный мир. Дуня задыхалась в этой пыли и, когда ей становилось тяжело дышать, она всякий раз вспоминала загадочного человека из отцовской сказки и ей так же, как и ему, хотелось крикнуть громко, чтоб всем было слышно:

— Не годится все это! Душно здесь...

VIII

Только спустя несколько месяцев Федор Никифорович поднялся с постели. За время болезни он, казалось, разучился ходить и, чтобы не упасть, всякий раз хватался за устойчивые предметы. Лицо и руки его за это время стали неузнаваемо белы. Было похоже, что он никогда не работал в шахте. Когда Федор Никифорович впервые после болезни пошел на шахту, Дуня сопровождала его до самой нарядной. Отец всю дорогу шагал медленно, широко и все время смотрел под ноги, словно неузнавал своей походки. Дуня с трудом поспевала за ним, хотя и делала большие шаги.

На шахтном дворе Федор Никифорович остановился и сказал:

— Выходит, дочка, в нашей семье теперь два шахтера—каторжника.

Дуня не знала, что ответить. Отец некоторое время молча смотрел на дочь, и от его взгляда у нее невольно навертывались слезы на глазах. Девочке всегда было жаль отца и особенно, когда он по какому-либо поводу обращался к ней. В таких случаях он всегда говорил вопросами, словно задавал загадки и хотел, чтобы она решала их сама. Понимая, что загадки отца связаны с каким-то большим душевным горем, она слушая его, всегда испытывала желание заплакать. Вот и сейчас она не могла понять, радуется ли отец, что и она стала работать, или—наоборот—это огорчает его.

— Ну, я пойду, батя,—с трудом вымолвила она.

— Гляди ж мне...—напутственно строго и опять таки загадочно бросил ей вслед Федор Никифорович.

Евдокия бежала до самой эстакады не оглядываясь, стараясь заглушить тяжелое чувство.

* * *

Теперь, когда в доме было два работника и для Ахимии Ивановны прибавились лишние хлопоты. Но она от этого не то, чтобы приуныла, а, наоборот, как бы даже повеселела. Движения ее стали ловкими, проворными. Все делала мать с охотой, стараясь угодить и мужу и дочери. Но, несмотря на то, что в доме было теперь два работника, семья Королевых постоянно испытывала нужду, и Федор Никифорович, как прежде, закладывал свой крест в лавочке Обуха. Крест же Дуни лавочник не принимал в залог. Когда одна-

жды она попыталась доказать ему, что, как и все шахтеры, она имеет право пользоваться у него кредитом, лицо Обухова застыло от удивления. Нижняя толстая губа его обвисла, обнаружив ряд крупных желтых зубов. Так он стоял в оцепенении с минуту пока не разразился громким неудержимым хохотом. Ведра, жестяные кружки, сковородки, висевшие на стенах лавки, задребезжали, как бы тоже по-своему смеялись вместе с Обуховым.

— Кутенок ты лопоухий,—с трудом выдавливал он сквозь смех.—Да какой же из тебя работник. Таких вот, как ты, сколько ходит? Ну, сколько?

Лавочник вдруг перестал смеяться и, перегнувшись через прилавок, так, что Дуня почувствовала его угарное дыхание, выпалил:

— Тысячи. Вот выбросят тебя за ворота, что я тогда стану делать с твоим благословением? Молчишь? То-то.

Обухов гневно прошелся за прилавком. Дуня чувствовала, как половицы, скрипя, пошатывались у нее под ногами.

— Управляющему—ему что—не унимался лавочник.—Вместо тебя он другого возьмет а мне убыток. За твой-то крест мне француз ни хлеба, ни круп в лавку не принесет. Понимать надо, кутенок,—заключил он многозначительно.

С тех пор Дуня боялась заходить в лавку Обухова. Ей казалось, что он непременно за что-нибудь пожалуется управляющему или артельщику и ее, действительно, в один прекрасный день могут уволить с работы. И хотя она не чувствовала за собой никакой вины, все же непонятный страх не покидал ее уже ни на минуту. К тому же лавочник был прав, когда сказал, что ее в любой момент могут заменить на выборке породы другие. Дуня видела, как взрослые и подростки, желавшие получить работу, каждый день приходили к шахте и ждали, когда артельщики начнут отсчитывать нужных им рабочих.

— Три забойщика отходи вправо.

— Пять саночников—влево.

И люди скопом бросались в разные стороны, сбивая один другого. Желающих получить работу всегда было больше, чем требовалось. Это было только на-руку наемщикам. Они могли выбрать из массы людей пять-десять человек самых сильных, крепких и костью и мускулами. От таких всегда больше выгоды и управляющему и артельщикам.

Люди приходили наниматься на работу с различных

мест. Здесь были из ближайших шахтных и заводских поселков—шанхайчиков и собачевок; приходили обнищавшие крестьяне из далекой Татарии, Курской, Смоленской губерний, с богатых степей Запорожья и Полтавы. Здесь можно было слышать и мягкую украинскую речь, и приятный окающий говорок волжан, и непонятную гортанную речь татарина и даже китайца. Все они бродили в одиночку и небольшими группами от одной шахты к другой, от заводских ворот англичанина Юза до ворот мариупольского и макеевского заводов.

На тридцатой шахте они с утра до вечера стояли у конторы, а когда наступали сумерки, шли к деревянной казарме на отдых. Но, по обыкновению, всем пришлым приходилось спать у стен барака. В помещение их не впускали, так как в нем и для работающих на шахте не всегда хватало места. Отдыхать приходилось и на чердаке, устланном лебедой и полыном. Летом, когда через открытые окна и двери барака врывался резкий сквозняк, из них темной метелицей вылетали блохи.

В воскресные дни у шахтерского барака было многолюднее и оживленнее, чем в каком-либо другом месте. Здесь можно было услышать и песню, и звуки гармоники, и истощные крики детей, мирную беседу и жаркую ругань. Люди, прибывавшие на шахту с дальних мест, поселялись в бараке иногда семьями, заносили сюда свои обычаи, свой говор, свои песни, всегда заунывные, печальные. Песни эти одинаково для всех были дороги и близки сердцу. Когда, бывало, подвыпивший шахтер принимался плясать, сам себе подпевая и прищелкивая языком, все смотрели на его пьяные выходки с удивлением и даже с неприязнью. Лихой танец, веселая мелодия „Камаринского“ как-то не вязались с этой тяжелой жизнью, были чужды ей. А вот когда играл на гармонике, пестро разукрашенной блестящими узорчатыми жестянками, саночник татарин Абдулл Хали, все собирались вокруг него и молча слушали бесконечную заунывную мелодию. Ни одного слова нельзя было понять из этой песни Абдулла, все же ее слушали с затаенным дыханием.

Хали не говорил по-русски. Песня под гармонику была единственным средством общения этого человека с жильцами барака. Посредством ее он передавал свои чувства, думы свои и видимо, понимал, что они у него такие же, как и у всех. Недаром же играя на гармонике он часто улыбался людям искрен-

не, во все свое широкое скуластое лицо. Казалось, в эту минуту он говорил: „А ведь мы, друзья, отлично понимаем друг друга".

Как-то, когда татарин, усевшись на большом камне под стенкой барака, вполголоса пел, положив подбородок на уголок гармоники, неожиданно подошел артельщик Колупаев. Как он очутился здесь, никто не заметил. Колупаев держал подряды на шахте и, кроме того, имел неподалеку шахтенку - проходочку, которая давала ему солидную прибыль. Рабочие на этой проходочке работали по тринадцать и даже четырнадцать часов в сутки. Артельщик обсчитывал их, как только хотел. Шахтеры знали об этом и всегда зло говорили о нем:

—Чем наниматься к Колупаеву, лучше с голоду подохнуть.

Колупаев был заметно выпивши. Маленькие, неопределенного цвета глаза его, с красными прожилками на белках смотрели угрюмо, мутно. Походка его была развязной, неверной.

— Веселей бы играл ты, чумазый.

Татарин даже не поднял головы, продолжал играть. Шахтеры, стоявшие тут же, недружелюбно смотрели на артельщика.

Колупаев ближе подошел к гармонисту, грубо, одной рукой толкнул его в голову, другой выхватил гармонику и, подняв ее на уровне лица, удивленно, словно диковинку, стал рассматривать. Затем рипнул ею и, усевшись на месте татарина, сказал, мрачно покосившись на него:

— Непонятно ты играешь. Вот я сыграю, небось, запляшешь. И растянул меха. Однако, как ни старался артельщик, как ни терзал гармонь, согласованных, ладных звуков у него не получалось. Вскоре на лице Колупаева выступил пот.

— Заколдовал, небось, чорт не нашего бога,—с ненавистью покосился он на татарина.

Абдулл, опустив голову, молчал.

— Да ведь гармонь ихняя, не русская, — сказал кто-то.

Колупаев, казалось, только сейчас сообразил, что гармонь, действительно, странного происхождения. Он еще раз удивленно оглядел ее, медленно поднялся с камня, одновременно растягивая меха во всю ширь. Когда на гармонике исчезли складки, артельщик, как бы желая освободить руки, рванул ее с такой силой, что она лопнула пополам.

— Ирод, обманул!—зарычал он, наступая на татарина так, словно тот, действительно, причинил ему какую-то смертельную обиду. Но артельщику тотчас же преградил путь высокий шахтер. Дуня сразу ж узнала его. Это был забойщик Караулов, который у шахтной конторы, во время получки назвал Бушкета собакой.

— Это к чему же инструмент нивечить,—сказал он, зачем-то пряча тяжелые кулаки глубоко в карманы брюк. Колупаев отступил на шаг, окинул Караулова с ног до головы злобным взглядом.

— Ты мне не указ. Татарченок мой, что хочу-то и делаю с ним.

Артельщик, видимо, хотел еще что-то сказать, но Караулов сделал неожиданный шаг вперед и, наступив Колупаеву на насок сапога, изо всей силы наотмашь ударил его кулаком по шее. Артельщик, словно подкошенный, повалился на землю тут же, где стоял.

— Плати за гармонь! —ревел над своей жертвой Караулов,—плати, иначе душу с тебя выйму.

Артельщик сразу же отрезвел. Испуганно косясь на обидчика, он отполз немного в сторону и, усевшись на пыльную траву, широко расставив ноги, принялся шарить в карманах. Караулов, впившись в артельщика злобным взглядом, говорил грозно:

— А станешь, собака, измываться над татарином, душа с тебя вон! А в полицию заявишь—удушу.

Кто-то за татарина получил деньги из рук артельщика. Колупаев поднялся с земли, отряхнулся и, трогая рукой ушибленное место на шее, медленно зашагал прочь от барака. Караулов провожал его таким взглядом, словно изучал и старался запомнить каждое его движение. Когда артельщик скрылся, кто-то из шахтеров сказал Караулову:

— В полицию заявит.

— Не заявит,—твердо, с уверенностью сказал забойщик и угрюмый пошел в барак.

Дуня все это наблюдала с тревогой. Ее удивило бесстрашие и сила забойщика Караулова. Она смотрела вслед, ему чувствуя, как растет в ней приятное, горделивое чувство.

IX

То, что случилось на шахте в этот день, удивило и даже немного испугало Дуню.

Все началось рано утром, перед спуском в шахту. Мимо

выборщиц породы пробежал шахтер, с потным лицом, без фуражки. В отчаянии размахивая руками, он кричал:

— Покидайте работу. Ни потом, ни кровью штрафы артельщиков не откупишь.

Шахтер бросался всюду, где только были люди, и все приказывал властно и так, словно был здесь единственный и полновластный хозяин.

—Бросай работу!

Он то исчезал за штабелями угля, за железнодорожными вагонами, то снова появлялся. Вначале никто не мог понять, что случилось? А когда шахтер обежал весь шахтный двор и снова побежал в нарядную, люди один за другим потянулись вслед за ним. Пошла и Дуня. В первую минуту она пугливо оглядывалась по сторонам. Ей все время казалось, что артельщик может появиться в любую минуту и тогда ей никогда уже не работать на шахте.

Рабочие вначале шли нерешительно, робко. Но вскоре стали убыстрять шаги. Побежала и Дуня.

У шахтного здания шумели, толпились, шахтеры. Казалось, они что-то не поделили между собой. Говорили все возбужденно, громко, некоторые поднимали обушки и лопаты, потрясая ими в воздухе. Во всей этой разноголосице можно было только ясно расслышать: штрафы, шкуродеры. Слова эти были сильнее всех остальных и, как невидимые, но грозные птицы парили над толпой.

Дуня прислушивалась к голосам, всматривалась в разгоряченные лица людей, стараясь разгадать, что же, в конце концов, происходит, и даже не заметила, как очутилась в центре толпы. Несколько минут спустя люди, раскачиваясь, точно огромная волна на одном месте, вдруг тяжело хлынули в сторону шахтной конторы. Несколько раз Дуню сбивали с ног, но она быстро поднималась и опять бежала, натыкаясь то на чью-нибудь спину, то больно ударяясь о рукоятки лопаты или обушка. Уже у самой конторы ее будто сильной волной выбросило из толпы. Кто-то держал ее за руку крепко, до боли.

— Ну-ка, марш домой! — прогремел у нее над головой строгий голос. Это был голос отца. — Марш, говорю! — повторил еще более властно Федор Никифорович и отпустил руку дочери.

Дуня отбежала несколько шагов в сторону, оглянулась. Отца не было. Он снова исчез в толпе.

Чьи-то зычные голоса резали воздух:

— Закрылись. Бей стекла!
— Живьем тащи француза!
— Прячутся? Найдем!

И вдруг все покрыл глухой удар, сопровождаемый дробным веселым звоном. За ним последовал другой, третий... Толпа внезапно утихла, точно ошеломленная этими неожиданными звуками. Но спустя некоторое время громкие возгласы, общий шум усилились и широкой волной разлились по шахтному поселку. Что-то тревожное, грозное и в то же время ликующее было во всей этой разноголосице. Над толпой все чаще поднимались обушки и лопаты. Иногда их вырастал целый лес, и тогда чудилось, что не один бьет окна конторы, а все разом, дружными сильными ударами.

Так продолжалось несколько минут. Но вот толпа снова, покачнувшись, ринулась к шахтному зданию.

...Груженные углем и порожние вагонетки одна за другой со всего бега устремились в ствол шахты. Забойщик Караулов яростно размахивал обушком в воздухе, сопровождая каждое движение призывом:

— Еще подавай! Еще вагончик, братцы!

Дуня впервые за все это время увидела Караулова и уже не могла оторвать от него взгляда. На забойщике была синяя, свеже выстиранная сорочка, с широко растегнутым воротом. Прилипшие к потному лбу темные волосы его, округленные, сверкающие какой-то дикой радостью глаза придавали ему грозный и в то же время праздничноторжественный вид. Было похоже, что этот сильный человек справляет какой-то свой, необычный праздник и призывает всех веселиться вместе с ним.

Вагонетки одна за другой, будто выпущенные на волю птицы, исчезли в темной пропасти ствола. Оттуда, из глубины доносились гулкие удары, похожие на взрывы: то вагонетки бились одна о другую, закупоривая ствол.

Бунт длился несколько часов, пока из Юзовки не прибыла казачья сотня и не разогнала шахтеров.

Вечером „Шанхай" был пустынным, безлюдным. Лишь изредка на галопе пробегал казак, стеля по кривым улочкам поселка тревожный лошадиный топот.

В эту ночь семья Дуни долго не ложилась спать. Сидели в потемках. Федор Никофорович то говорил что-нибудь сердитое, то снова умолкал, тревожно прислушиваясь к чему-то.

— Побили вот контору! ствол запрудили, пусть помнят!

Французу и артельщикам его хватит убытку. Так вот и впредь на штрафы да на обманы будем отвечать бунтом.

Последнее слово произнес он необычайно громко и с такой силой, что у Дуни спирало дыхание и пальцы до боли сжимались в кулаки.

После того, что случилось на шахте, ей понравилось слово „бунт". Девочка понимала, что в этом слове скрывается какая-то большая, таинственная сила людей. Это она, это сила, заставила шахтеров бить окна в конторе, пускать „орлов" в шахту; она приказала им бросить работу. Проявление этой силы привело в „Шанхайчик" казаков, которые схватили Караулова, плетками разогнали народ.

Бунт. Совсем по-иному прозвучало это слово для Дуни спустя несколько лет.

X

Прошли годы, но жизнь на шахте не изменилась. Люди, как и прежде, работали по двенадцать—тринадцать часов в сутки, проклинали свою судьбу, хозяина шахты, артельщиков. Они попрежнему штрафовали рабочих обсчитывали, морили их непосильным трудом и голодом.

Не изменился и поселок „Собачевка", разве только прибавилось в нем несколько новых землянок, похожих одна на другую. Приземистые, хмурые, они, казалось, боялись, солнца. Летом поселок по обыкновению зарастал высоким бурьяном, зимой же его заметало глубокими, крутыми сугробами. Они мощными косяками перехлестывали через землянки, высокими стенами преграждали улицы.

Ничего не изменилось и на шахте. Хозяином ее был все тот же француз Вирте. Как и десять лет назад, он аккуратно и в одно и тоже время — в полдень — под'езжал к конторе на своей заморской линейке. Работами под землей и на поверхности попрежнему руководили артельщики. Правда некоторые из них перешли на другие шахты. Их заменили новые. Но от этого ничего не менялось. Был Колупаев — стал Боровой. Артельщика Бушкета заменил Поздняков. Но все они были одного поля ягодки.

В жизни же самой Дуни за это время произошло не мало перемен. Теперь это была двадцатидвухлетняя Евдокия Федоровна — горнячка, жена саночника Захара Филипповича Королева. Судьба неслучайно свела этих двух людей. Они еще с детства знали друг друга. С виду молчаливый, трудолюбивый Захар выделялся среди осталь-

ных шахтеров беспокойным, но твердым характером. Захар по тринадцать часов в сутки таскал санки. Работал он не жалея сил, покорно, как вол. Возвращаясь домой, он едва передвигал ногами. Королев до того уже привык работать на четвереньках, что и прийдя с работы, ходил сгорбившись, будто вечно носил на своих плечах какой-то непосильный груз. Когда Захар видел, что его обсчитывают, жестоко мстил десятникам и артельщикам. Он то сворачивал рельсы в штреках, то, подсторожив где-нибудь в темноте своего обидчика, избивал его до полусмерти, а сам скрывался незамеченным. Многие шахтеры знали об этих смелых проделках саночника, в душе хвалили его, но молчали, зная, какая кара ждет Королева за эти его „бесчинства". Знала об этом и его жена Евдокия. Никто же из начальства не подозревал за Королевым этих проделок. Да и трудно было подумать что-либо подобное о Захаре. Молчаливый светлоглазый Захар Королев всей своей спокойной, понурой фигурой выражал смиренность, постоянную готовность к покорности.

Не долго пришлось прожить молодой чете вместе. В 1900 году Захара призвали в армию.

Попрежнему Евдокия Королева работала в шахте. За это время многих рабочих не стало. Одни ушли на более легкие заработки, другие были рассчитаны за не послушание. Их заменяли все новые и новые. Но ни о ком так не жалела Евдокия Федоровна, как о забойщике Караулове. Его не стало на шахте с тех пор, как еще в 1902 году на шахте вспыхнул очередной бунт. С того времени прошло около десяти лет, но образ этого волевого, мужественного человека на всю жизнь остался в памяти Королевой.

Когда в 1905 году на шахте № 30 вспыхнула всеобщая забастовка, Евдокия Федоровна снова вспомнила о Караулове. Она все время ждала, что вот-вот в толпе рабочих появится его высокая, слегка сутулая фигура в синей косоворотке и все с жадностью устремят на него свои взгляды, ожидая зловещих, грозных слов:

— Бей их, братцы!

Но теперь был не Караулов, а другие, к словам которых прислушивались, рабочие, набираясь в них сил, мужества, решимости в борьбе с эксплоататорами.

Эксплоататоры. Теперь это слово было хорошо знакомо Королевой. Она слышала его почти ежедневно и сама повторяла, выражая им острую ненависть к управляюще-

му Вирте, артельщикам, к лавочнику Обухову. Чем чаще слышала она это слово, тем все больше труд для нее становился в тягость, тем невыносимее, постылее была жизнь. Хотелось вырваться из нее. Но как это сделать—она не знала. Не знали и многие. Однако Королева все чаще убеждалась, что есть такие люди, которые уже видят пути избавления от этой, тяжкой каторжной жизни, и всегда с жадностью прислушивалась к их словам.

Забастовка в 1905 году вспыхнула не только на шахте № 30. Она охватила рабочих рудников № 31, 32, „Петровский" и других. Казалось, огромная волна прокатилась по всем рудникам и заводам, разбудила, подняла на ноги трудовой люд. В этот день Евдокия Федоровна вместе со всеми вышла на демонстрацию.

Стояло знойное лето. На пустыре, неподалеку от шахты, собирались рабочие, их жены и дети. Многие пришли сюда прямо из шахты, бросив работу. О начале забастовки на руднике знали задолго до этого. Знали и о требованиях, какие должны пред'явить рабочие управляющему шахты. Это было: отмена штрафов, уменьшение рабочего дня до восьми часов в сутки, увеличение заработной платы и другие.

С невысокой, сооруженной из деревянных ящиков трибуны выступал оратор. Королевой с трудом удалось пробиться поближе к нему. Выступал шахтер с соседнего рудника № 19 Михаил Качурин. На нем была яркая синяя рубаха. Казалось, Качурин нарочно надел именно такую, чтобы отличаться от всех остальных. Громкий, с каким-то стальным звучанием голос его был далеко слышен. Он говорил о штрафах, о непосильном труде в шахте.

Оратора слушали с напряженным вниманием.

— Крепитесь, товарищи! Не выходите на работу, пока управляющий не уступит нашим требованиям. Долой эксплоатацию и эксплоататоров!

— Долой самодержавие! — крикнул кто-то из толпы, и почти тотчас же среди людей пронеслось тревожное:

— Полиция!

Толпа заволновалась, но никто не сошел со своего места. Пристав Львов, тучный, в белом с блестящим пуговицами кителе, в сопровождении полицейских встал с линейки направился прямо в толпу. Он шел четким, широким

шагом, с независимым видом, как бы заранее был уверен, что ему должен уступить дорогу. И действительно, люди расступились, пропуская пристава к трибуне.

Михаил Качурин, заметив Львова, скрылся в толпе. Но полицейские успели заметить его.

Пристав, взойдя на трибуну, кричал, размахивая тяжелым, точно гиря кулаком:

— Никакой вам надбавки не будет. Никаких ваших требований акционерное общество не желает признавать. Расходись!—гаркнул он с такой силой, что даже закашлялся.

Однако, никто не сходил с места. Пристав некоторое время злобно водил глазами, словно удивляясь, что его голос не произвел никакого впечатления на рабочих, и еще раз с такой же силой повторил свое приказание. Все так же молча, потупившись стояли на своих местах. Тогда Львов сделал рукой какой-то загадочный жест и почти тотчас же со стороны поселка появились всадники. Развернувшись в цепь, они на полном галопе мчались прямо на людей, обнажив сабли и грозно играя ими в воздухе. Толпа дрогнула, и многие в смятении стали разбегаться. Михаил Качурин снял с себя синюю сатиновую рубаху и, оставшись в исподней белой, скомкал ее и сунул в руки Королевой.

— На, спрячь,—сказал он и тотчас же скрылся.

Королевой только теперь стало ясно, зачем оратор выступал именно в яркой синей рубахе. Это была своего рода маскировка. Евдокия Федоровна сунула за юбку рубаху Качурина. Полицейскому, мимо которого она пробегала, показался подозрительным ее подол. Он схватил ее за руку и, изо всей силы рванул к себе, проговорил грозно:

— Ты спрятала рубаху?

— А ты мне ее давал?!—С испугом и в то же время с ненавистью ответила она. Тот хотел было схватить Королеву за кофточку, но она вырвалась из его рук и изо всей силы, сразу обоими кулаками толкнула его в грудь, больно ударившись пальцами о металлические пуговицы. Полицейский не устоял на ногах, грузно упал на землю.

Королева, смешавшись с людьми, бежала, думая теперь только о синей сорочке Качурина, прижимая ее рукой к телу. Казалось, урони она эту необычную ношу, силы ее в одну минуту покинут, и люди сомнут, растопчут под ногами.

На другой день после разгона митинга шахтеров стало

известно, что многие рабочие арестованы и под конвоем отправлены в Юзовку. Днем по улицам поселка патрулировали полицейские. Они следили за тем, чтобы рабочие не сходились группами и по ночам, не жгли свет в землянках и домах. Но Королева хорошо знала, что в эти дни шахтеры собирались в лесу, в небольшой балочке, о чем-то советовались, что-то решали. Об этом свидетельствовали листовки, которые почти ежедневно появлялись в „Шанхайчике". Они призывали шахтеров не приступать к работе, стоять на своем, добиваться законных требований.

За двенадцать дней из шахты не было выдано ни одного пуда угля. Вагонетка, перевернутая на верхушке терриkона, за все это время ни разу не спускалась вниз. Точно молчаливый свидетель восставших шахтеров, она день и ночь маячила наверху.

День и ночь—все двенадцать суток...

XI.

Проходили дни. Голод снова загнал людей в шахту. Но не всем удалось вернуться на свою работу. Многих шахтеров заточили в тюрьмы, других сослали в Сибирь; некоторые со зловещим клеймом на паспорте—„забастовщик" вынуждены были оставить насиженные места в поисках другого пристанища.

Жестокая реакция все теснее сжимала железные оковы на теле рабочего.

... Снова с эстакады вагонетка за вагонеткой сыплется уголь. Подхваченная ветром пыль густым черным облаком плывет по шахтному двору, застилает глаза, не дает дышать. На лицах, на руках—всюду темные следы каторжного шахтерского труда. Их не смоет ни вода, ни время. У Королевой кровоточат пальцы от постоянного прикосновения к жесткой, острой породе. Она обматывает руки тряпкой. Но и это не помогает. Раны продолжают сочиться кровью и нестерпимой болью отзываются во всем теле. Но работать надо. Надо кормить себя, помогать семье. Отец еще кое-как держится на ногах. Но надолго ли хватит у него сил? С каждым днем здоровье его становится все хуже, и надо быть готовой ко всему...

На мужа надежды мало. Не так давно Евдокия Федоровна получила письмо от Захара, в котором он писал, что ранен на русско-японской войне и лежит в госпитале. Вер-

нется ли снова домой? А если вернется калекой? Эта страшная мысль постоянно преследовала Евдокию Федоровну.

Но к счастью Захар Королев возвратился целым.

Однако, скоро прошли радостные, первые дни возвращения. Вслед за ними потянулись такие же, как и прежде — серые, полные постоянных забот и тяжкого труда, молчаливой покорности перед судьбой.

Захар Королев, так же, как и до войны, работал на шахте саночником. Так же, как и прежде, он получал за упряжку 70 копеек. А семья Королевых все росла. Родилась дочь, дали ей имя Елизавета. Спустя два года появился сын Николай, а за ним третий ребенок—Семен. Теперь Евдокии Федоровне приходилось быть в одно и то же время и домашней хозяйкой и работать на шахте.

— Бывало, станешь просить артельщика, — вспоминает Королева,—отпустите, христа ради, хоть на часок: ребенок, небось, зашелся от крика без материнской груди. А тот и слушать не хочет. „Какое мне дело до твоего ребенка,—станет кричать,—не пущу, и делу конец". А как бросишь работу? Уйдешь, а на другой день на твое место другую примут. Спасибо, люди —нет-нет да и принесут на шахту дитя. Кормишь и оглядываешься: не заметил бы артельщик, не накликать бы на себя новой беды.

Как-то в полдень подняли из шахты, ушибленного шахтера. Его вынесли на носилках. Все, кто был поблизости, окружили несчастного, стали угадывать: кто бы это мог быть? Подошла и Королева. Человек лежал неподвижно. Под сомкнутыми веками чувствовались еще живые глаза.

— Саночник, — определил кто-то мрачно. У Евдокии дрогнуло сердце. Она подошла ближе. И узнала:

—Захар!—вскрикнула она и без сил повалилась на носилки...

Захару Королеву помяло в шахте ребра и что-то отбило внутри, Но он еще был жив. Королев был не первый и не последний, кому шахта нанесла тяжелое увечье. Не было того дня, чтобы из-под земли не выносили кого-либо мертвым или искалеченным на всю жизнь. Шахтеры каждый час ждали обвала, или еще какого-нибудь несчастья, каждую минуту были под угрозой смерти.

„Шахтер в шахту опустился,

С белым светом распростился..."

пели тогда горняки. Эта и другие песни, пословицы и по-

говорки шахтеров того времени были подсказаны самой жизнью, тяжкими условиями труда.

Техника безопасности в то время на шахте, как правило, отсутствовала. Крепежный лес никогда не доставлялся в забой в достаточном количестве, выработки крепились плохо, а часто не крепились вовсе. Сгнившие стояки в штреках не заменялись новыми. И когда коногон проносился по штреку с партией вагончиков с гиком и лихим свистом это не значило, что он, такая уж забубенная головушка, человек, не знающий страха. Нет, конечно. Коногон каждый час ждал на свою голову несчастья. И, чтобы не думать об этом, он мчался с партией вагончиков, точно ветер с удалым свистом и криком. Просто так легче ему было встретить смерть. А встреча эта, рано или поздно, была неизбежна.

Четыре года пролежал в постели Захар Королев. Сильное молодое тело саночника с невероятным упорством боролось со смертью. За это время Евдокии Федоровне удалось перейти на другую работу. Теперь она была лампоносом. Нелегкий был и этот труд. Нагрузившись „шахтерками". она разносила их по забоям, пробираясь темными, заболоченными штреками. Когда в штреке вихрем проносилась партия вагонеток, груженных углем, она прижималась к холодным, мокрым стенам, каждую секунду ожидая, что вот-вот вагонетки зацепят ее, собьет с ног, сомнет под колесами.

В те годы крысы были неизменным спутником горняков в шахте. Они находили себе убежище на конюшне, в штреках и даже в забоях. Их было несметное число. Они немало досаждали горнякам. Бывало, принесет шахтер кусок хлеба, положит где-нибудь в сторонке, а кинется—его уже нет: крысы утащили.

В первые дни работы лампоносом, Королева, как ни старалась, не могла без страха ходить по сумрачным штрекам.

— Бывало идешь, а крысы, огромные, точно коты, так и снуют под ногами: шлеп-шлеп по воде. Даже ноги подкашиваются от страха. Без привычки ведь. А потом обвыклась.

Три года Евдокия Федоровна проработала лампоносом. Хотя и тяжелый был этот труд, но она видела: без него не обойтись горнякам. В шахте без света, что без глаз. Случится—погаснет у забойщика шахтерка, и кромешная

немая тьма непроницаемой, плотной стеной окутает его. Ни работать, ни выйти из забоя. Сиди, точно в яме. Королева на всю жизнь запомнила, с какой, бывало, радостью встречали ее шахтеры, когда приходила она, увешенная лампочками, словно немеркнущими светлячками в этом подземном царстве вечной темноты.

— Свет—Евдокия идет,— кричали шахтеры, заметив ее где-то в глубине штрека и бежали к ней навстречу возбужденные, радостные, словно к своему избавителю.

Но все же профессия эта не удовлетворяла Королеву. Ей хотелось иметь дело непосредственно с горняцким трудом. Это давало больший заработок и к тому же это была квалификация. А с квалифицированными рабочими хоть немного, все же считались артельщики, не увольняли их без разбора как других.

Прошло еще полгода, и Евдокия Федоровна уже работала на плитах, затем в забое на погрузке угля. Это уже был настоящий шахтерский труд. По двенадцать, а иногда и по четырнадцать вагончиков нагружала она в смену. Не всякий мужчина нагрузит столько угля. И некоторые не то с завистью, не то со злобой говорили ей:

— Куда торопишься? Артельщику угождаешь. Небось отблагодарит, жди...

Но Евдокия Федоровна и не думала никому угождать, и тем более ни от кого не ждала благодарности. У нее было трое детей, один другого меньше. И вот уже четыре года, как лежит в постели больной муж. На всю семью только одни ее руки. Поневоле станешь трудиться до седьмого пота.

Однажды кто-то из шахтеров посоветовал Королевой похлопотать у француза Вирте пособия для больного Захара.

— Не даст, конечно. А все же—попытай счастья, — говорили ей.

Как и в далеком детстве, Евдокия встретила управляющего у конторы и упала ему в ноги. Рыдая, она об'яснила свое горе. Француз стоял молча, холодно, с нескрываемой досадой разглядывая работницу.

— Королев, саночник?—с трудом вспоминал француз. — Что-то помню. А разве он еще не умер? Удивительно живучие люди—эти русские!—зло проговорил Вирте и хотел было уйти, но Едокия Федоровна снова упала на колени, преградив ему дорогу.

— Да чего ты хочешь от меня, баба! — строго крикнул он.—Денег?—Денег у меня нет!

И Вирте, как и тогда, лет десять тому назад, обошел ее, и спокойным шагом, не оглядываясь, пошел своей дорогой.

Спустя несколько дней Королева обратилась с такой же просьбой к штейгеру шахты. Тот сжалился, выдал ей... три рубля. Это и все, что она получила за четыре года болезни мужа.

Деньги эти пригодились Евдокии Федоровне на похороны Захара, который в скором времени скончался.

XII.

Женщина—забойщик. Кто из откатчиц, плитовых, выборщиц породы не мечтал в то время об этой заветной квалификации. Многие, конечно. Но не каждой выпадало счастье стать забойщиком. Длительный и необычайно тяжелый был путь к этой профессии. Евдокия Федоровна Королева шла к ней годами, надрываясь в тяжелом труде, перенося лишения, надругательства артельщиков. Но все же она постоянно думала об этой квалификации, будто там, в забое ждала ее иная, лучшая жизнь, облегченный труд, другой—лучший кусок хлеба. То, что забойщики зарабатывали больше других—об этом все знали. Но труд этот в то время был невероятно тяжелым, почти нечеловеческим. Это также ни для кого не было секретом.

Когда в первый раз Королева взяла в руки обушок, от нахлынувшего вдруг волнения и непонятного страха у нее на какое-то время онемели руки, и она чуть было не уронила его. Но вот первый удар по углю, другой, третий... Найден, наконец, клеваж. Эта-только опытным глазом уловимая струя в угольном пласте, по которой забойщики рубят обушком. Против этого замершего векового течения не урубить уголь: и руки надорвешь, и зубок затупишь, и заработаешь грош.

За долгие годы работы в шахте Евдокия Федоровна привыкла к тяжелому физическому труду. Но труд забойщика выматывал последние ее силы. Отработав смену, она едва добиралась домой. Тело болело такой несносной болью, будто всю ее жестоко избили. Однако, прошла неделя, другая, и Королева втянулась, привыкла к новой профессии и уже работала не хуже других забойщиков. Заработок же ее всегда был наполовину меньше, чем у мужчин. Труд

женщины-шахтерки оплачивался тогда вдвое, а то и втрое меньше труда мужчины. Но все же это был заработок, не сравнимый с заработком выборщицы породы или лампоноса.

Труду забойщика Королева обучила и своих товарок: Горбунову Александру, Дюкову Марию. У них, как и у Евдокии Федоровны, были большие семьи и они вечно нуждались в куске хлеба.

Давнее предание шахтеров толковало: бабам в забое „шубин" помогает. Это значило, что там, где работает женщина, навсегда поселился этот злой невидимый дух, и стоит только начать работать в „бабьем забое", с человеком непременно случится несчастье: или привалит его породой или вдруг окажется, что угольный пласт до того покручен, что сколько ни ищи—не найдешь в нем клеваж. При каждом ударе обушок отскакивает от угля, как от кремневой стены.

Предание это, видимо, крепко жило у шахтеров. Королева не помнит такого случая, когда бы кто-нибудь из мужчин забойщиков работал в том забое, где рубала уголь она или ее товарки.

Королева сама точила зубки, сама их закаляла на огне и сама же мастерила рукоятки для обушка. Да так, собственно, поступал каждый. Известно, что не всяким обушком будешь рубать уголь; прежде его надо подогнать к рукам, приловчиться к нему. Иной раз обушок на вид будто и хороший, все в нем на месте, а станет забойщик рубать—плывет, скользит он в руках, пальцы не срастаются с рукояткой. А надо, чтоб срослись, чтоб обушок и руки были одно-единое, тогда в нем сила большая, и под его ударами уголь отваливается целыми глыбами. На первый взгляд ремесло забойщика не особенно мудрое. Но труд этот требует опыта, сноровки и хорошей силы. А откуда эта сила могла быть у Королевой? Если ее и было немного, то надолго ли могло хватить? Поэтому Евдокия Федоровна больше брала умением.

Уже в то время она, еще молодая женщина, была похожа на старуху. Скорбные, резкие морщины сплелись на ее лице. И без того невысокого роста, согнутая тяжелым трудом, она казалась совсем маленькой. Однако, в движениях Королева была всегда проворной, быстрой. Казалось, ни одной минуты она не могла усидеть на месте. Такой Евдокия Федоровна была в детстве. Вечная нужда, постоянные

семейные злыдни заставляли ее двигаться, делать все, как говорит она, на ходу.

* * *

Так бы и сгорел в каторжном труде этот замечательный трудовой человек, если бы не пришла Октябрьская социалистическая революция, организатором которой была великая партия Ленина—Сталина. Этот день был первым радостным днем в жизни Евдокии Федоровны.

Не стало на шахте француза Вирте, исчезли куда-то артельщики. На пустыре, где стояла бакалейная лавочка торгаша Обухова, закипела стройка новых жилых домов для горняков. Были разрушены старые казармы — клоповники, на их месте разбивался поселковый сад, строили новые благоустроенные общежития. Шахта № 30 из года в год оснащалась новыми механизмами. Для всей этой колоссальной работы понадобилось продолжительное время, большие усилия всего коллектива рабочих и их семей.

Новый поселок, новая шахта строились рабочими для себя. Все это отлично понимали горняки и никто не считался ни с временем, ни с силой.

Евдокия Королева уже с первых дней революции не стала работать в забое. Она пожалуй, и не оставила бы свою профессию, к которой привыкла за долгие годы, но ей запретили работать забойщиком. В шахткоме так и сказали:

—Не женский это труд. Для женщин на шахте есть другая работа, полегче.

Королева стала работать стволовой. Теперь, когда рабочий день был восемь часов, Евдокия Федоровна имела много свободного времени. Его хватало не только для домашних нужд, но и для большой общественной работы. Дети ее, как и дети других шахтеров, ходили на детскую площадку. Евдокия Федоровна знала, что там они всегда будут сыты, за ними есть кому присмотреть.

Постепенно у Евдокии Федоровны начали проявляться организаторские способности. Она каждый день жила делами шахты, хорошо знала ее людей. Знали и ее рабочие.

Когда выстроили первое общежитие на шахте, она вместе с домохозяйками взяла шефство над ним. Королева хорошо запомнила тот день, когда она вместе с товарками первый раз пришла в рабочее общежитие. В новых, еще не обжитых палатах, было неуютно. Некоторые рабочие как приходили в шахтерках с работы, так и ложились в них на постель. Евдокия Федоровна посмотрела на все это, и

в ее памяти невольно представилась дореволюционная казарма.

„Далеко ли здесь до этой казармы“ с болью подумала она, но промолчала, сказала о другом:

— Мы решили шефство взять над вами, товарищи.

Шахтеры—кто лежа, кто сидя в постели—удивленно посмотрели на непрошенную делегацию.

— Это что еще за шефство?—спросил кто-то из них, не то насмешливо, не то и в самом деле не понимал, что это за слово такое—шефство.

Королева промолчала. Она и сама не могла об'яснить его, но знала, зачем пришла.

— Если говорить по—нашему, по—рабочему, то мы пришли оказать вам помощь,—постаралась об'яснить она.

Но опять таки никто, видимо, не понял ее. Все попрежнему с недоумением смотрели на гостей. Тогда Королева подошла к одному из шахтеров, который лежал в постели в рабочей блузе, закинув ноги на спинку кровати. Ему было, как определила Евдокия Федоровна, лет тридцать пять, если не больше. Она неоднократно встречала его в шахте, но фамилии не помнила.

— Ты, небось, в старых казармах жил? — спросила Королева.

— Пришлось,—неохотно ответил шахтер, все еще не поднимаясь с постели.

— Видать, понравилась тебе старая казарма.

— Да пропади она пропадом, чего пристала!—рассердился рабочий.

— Вижу, понравилась, раз со старыми привычками не можешь расстаться,—спокойно, но твердо сказала Королева.—В шахтерке на постель! Так только в старой казарме делали.

Рабочий понял ее упрек, сбросил ноги со спинки кровати, сел, виновато опустив глаза..

— Рабочий дом это у вас, а не казарма,—чувствуя, что на ее стороне верх, говорила Евдокия Федоровна, — семейный дом—ему название. Не можете сами навести порядок —мы это сделаем. И называться будем вашими шефами.

Теперь всем было понятно, что за шефы пришли к ним. В тот же день женщины принялись за стирку белья, за мытье полов и окон в общежитии. На другой день нельзя было узнать это рабочее жилье: постели были чистые, аккуратно заправленные, на окнах появились цветы. На стене

висел огромный плакат: „Долой старую казарму, будем жить по-советски, культурно!"

С того времени шефы каждый день бывали в рабочем общежитии. Когда появлялась Евдокия Федоровна, жильцы встречали ее приветливо и ласково:

— Мать пришла.

— Ну садись, Евдокия Федоровна, расскажи что-нибудь про старое...

И Королева рассказывала молодым рабочим о прежнем каторжном труде шахтеров. Она видела, что ее простые слова находят живой отзвук в сердцах молодежи. И ,хотя ей всегда больно было вспоминать ненавистное прошлое, она понимала, что без этого ей не обойтись. Пусть знают, каким был труд шахтера до революции, пусть так же, как и она, всей душой возненавидят старое и еще больше дорожат новой жизнью, завоеванной потом и кровью рабочих.

В то время Евдокия Федоровна была неграмотной. Но она всегда приносила в общежитие свежие газеты. Здесь их читали вслух для всех жильцов. Слушала и сама Евдокия Федоровна.

Однажды она принесла в общежитие целый ворох новых книг. Вместе с женщинами-активистками Королева собирала книги где только могла; и на квартирах, и в шахтном комитете, кое-какие закупила в местном магазине. Это была первая библиотека на шахте. Вскоре уже ею пользовалось большое число рабочих.

Евдокия Федоровна вникала во все дела, все ее интересовало. Казалось, что без ее участия никакая работа не будет сделана так, как надо.

Когда в шахтном поселке была выстроена больница, Королева опять же со своими активистками ежедневно до поздней ночи наводила уют в палатах. Тогда во многом еще чувствовался недостаток: нехватало простынь, белья, наволочек. Королева все это доставала буквально с миру по нитке. Она умела просто, по-матерински убедить, и ей ни в чем не отказывали.

Когда в шахте случалось несчастье с каким-либо рабочим, особенно если он был родом из далеких мест и не имел на шахте своей семьи, Евдокия Федоровна непременно организовывала для него подарки.

— Ну как это оставить человека без ласки, без внима-

ния,— говорила она. — Ведь он же из нашей, шахтерской семьи.

Это большое материнское чувство старой горнячки к рабочим жило в ней постоянно.

Евдокии Федоровне всегда было досадно и больно, когда кто-либо из молодых рабочих уходил с шахты. Было похоже, что никто другой, только одна она была виновна в этом. Каждый день, прийдя на работу, Евдокия Федоровна осведомлялась—не вернулся ли беглец.

— Обиделся, видать, за что-то. Иначе, зачем бы ему расставаться с шахтерским трудом? — говорила она озабоченно.

В таких случаях она еще чаще бывала в общежитиях. Вскоре уже Королева знала — кто откуда прибыл, какая у него семья, думает ли он стать настоящим шахтером или приехал на сезон, чтобы „подколотить" деньжат и опять уехать в свои края. Были, конечно, и такие. Их Евдокия Федоровна узнавала с первого же взгляда.

— Посмотрю, бывало, на человека и вижу: не жилец он на нашей шахте. Начну толковать с ним, а он будто и слушает и смотрит в глаза, а вижу: домивка у него из головы не выходит. Тогда начнешь про семью допытывать. И человек сразу же оживится: глаза засияют и запылает весь, точно в огне. Ему радостно, а мне больно за него: знаю же, что дома у него только и того, что молодая жена, а хозяйство—ну, что называется— ни кола, ни двора. А вижу—человек хороший. Жалко такого упускать с шахты. И тогда уж не отхожу от него, с глаз не спускаю. Договорюсь, бывало, с опытным забойщиком или крепильщиком, чтоб взял его к себе в ученики, приучил к шахтерскому труду. Пройдет месяц, другой — не узнать человека. Повеселеет даже. Смотришь, жену письмом выкличет. Комнату ему выхлопочешь. А потом и благодарит:

— Спасибо тебе, мать. Век не забуду, как ты меня шахтером сделала.

Да мало ли таких случаев было...

XIII.

Королева накрепко связала свою судьбу с новой шахтерской жизнью. Она всегда радовалась, когда шахта работала ровно, выполняла свой высокий долг перед государством, и досадовала, когда что-нибудь не ладилось.

... Десятки железнодорожных вагонов загнаны под по-

грузку угля. Они стоят час, другой. Их не успевают загружать. Каждый час простоя вагонов — убыток шахте, государству. Но беда не только в этом. Главное, что такой ценный коксующийся уголь в большом количестве скопился на шахтном дворе в то время, когда его ждут—не дождутся заводы. Ведь это тот же кокс, это новые тонны чугуна, стали. А в нем—сила страны, ее мощь.

И снова Евдокия Федоровна созывает свой актив, толкует с ним, раз'ясняет важность предстоящей работы, организует бригады по погрузке угля. Кажется, все сделано, но где же взять столько носилок, чтобы обеспечить ими грузчиков? Но и тут находится выход: женщины сами мастерят их. Не так уж и много нужно премудрости, чтобы сколотить из досок обыкновенные ручные носилки.

Уголь грузится днем, а когда дня нехватает, бригада работает ночью. Тут уж не приходится считаться ни с силами, ни с временем.

Десятки тысяч тонн угля были отгружены предприятиям бригадами, которые организовала Евдокия Федоровна.

Как-то в шахтный комитет на имя Королевой пришло письмо от рабочих коксового завода в Днепропетровске. Рабочие писали:

— Дорогая товарищ Королева! От всей души благодарим Вас за материнские хлопоты. Коксовые печи, на которых мы работаем, уже задыхались без вашего угля. И вот когда мы получили его и узнали, что эшелон этот был полностью погружен домохозяйками вашей шахты, мы еще раз уверились, что великое строительство социализма— это дело всего нашего народа, всей большой советской семьи.

Со временем о Евдокии Федоровне Королевой, ее большой общественной работе знал весь Донбасс. По примеру домохозяек шахты № 30 всюду организовывались бригады женщин по шефству над общежитиями, детскими садами, столовыми. Заботливые руки советских женщин всюду теперь на шахтах создавали уют, организовывали здоровый отдых для горняков. Их неутомимым трудом благоустраивались поселки, насаждались сады и парки, очищались шахтные дворы от мусора и хлама, разбивались цветочные клумбы. Там, где веками рос бурьян, забили причудливые фонтаны.

Это было замечательное патриотическое движение наших советских женщин — жен рабочих и служащих. Оно принесло неоценимую пользу делу строительства социализма. И во всем этом была большая заслуга Евдокии Федоровны Королевой.

Эта трудолюбивая горнячка, поистине мать шахтеров, и 1932 году вступила в ряды большевистской партии. Она до этого всегда была близка к партии, делала все возможное, чтобы выполнять ее мудрые указания. Она знала, что только партия большевиков открыла перед ней и перед всеми шахтерами светлый путь в большую радостную жизнь.

* * *

Когда началась Великая Отечественная война, Королевой было шестьдесят три года. В эти дни она приходила с работы возбужденной, усталой, запылившейся, но никогда не задерживалась дома даже на лишний час. Маленькая, вечно озабоченная, теперь она появлялась не только на шахте, в общежитиях рабочих; ее можно было встретить в клубах, на собраниях трудящихся соседних шахт, в военкомате, на призывном пункте. Здесь она выступала перед мобилизованными, призывая новое пополнение советских бойцов к мужеству и стойкости в борьбе с ненавистным врагом.

Бойцы прощались с Евдокией Федоровной тепло, как с родной матерью. Они говорили ей:

—Жди, родная, скоро вернемся с победой!

Но сердцем своим Евдокия Федоровна угадывала, что встрече этой не скоро быть, хотя быть ей непременно.

Немецкие полчища, вооруженные до зубов, все ползли и ползли вглубь страны. Радио каждый день приносило тревожные вести. И все же не верилось, что враг будет в Донбассе. Его остановят, он непременно должен обессилеть. Так думала не только одна Королева. Думали многие и работали с удвоенным напряжением и энергией.

В эти военные дни шахта № 30 давала небывалую добычу. Уголь не успевали вывозить: то нехватало вагонов, то их не принимала станция, перегруженная составами с воинскими частями, вооружением, заводским оборудованием.

Уже в начале октября стали появляться над городом Сталино вражеские самолеты. Обрушились первые бомбы на Рутченковский поселок, появились и здесь жертвы войны. Но все же не верилось, что немец придет в родной край. Шахтные и заводские гудки, как и прежде, по утрам звали рабочих к труду. Бесчисленные высокие трубы Ста-

линского металлургического завода, коксохимического и других попрежнему дымились густым облаком дыма. Это вселяло уверенность, что не быть немцу в Донбассе, никогда не воспользоваться врагу несметными богатствами края.

За всю свою долгую жизнь Королева ни разу надолго не покидала свою шахту, свой родимый край. Здесь прошло ее детство, здесь она до дна испила горькую чашу каторжного шахтерского труда. Здесь же впервые познала радость большой, свободной жизни.

Как-то, проснувшись рано утром, она увидела, что заводские трубы не дымятся, как прежде. Целый лес их четко выделялся на фоне облачного осеннего неба. У Королевой похолодело под сердцем. Она сразу все поняла: немцы недалеко. Они могут вторгнуться в Донбасс, если не через неделю, то через две. Что же делать с общим богатством —с шахтой, Дворцом культуры, благоустроенными жилыми домами, с углем, которого накопилось на шахтном дворе десятки тысяч тонн?... Неужели все это оставлять ненавистному врагу? При одной этой мысли всю ее обдавало жаром.

Когда Королева пришла на шахту, там уже стаскивали в одно место шахтное оборудование, грузили его в вагоны и на платформы.

— А как же быть с углем?—спросила она у заведующего шахтой.

— Грузить надо,—сказал он и задумался.

Угля было много. Чтобы весь его вывезти, понадобится несколько эшелонов. А где взять столько вагонов, тем более в такое тревожное напряженное время?

— Грузить непременно, иначе супостат против нас же будет лить на этом угле пушки и танки,—озабоченно, с возбуждением говорила Королева.—Помогай вагонами, хозяин, а я уже как-нибудь погружу уголь. Силы найдем.

— Давай, организуй, мать,—одобряюще сказал заведующий.

Первые 80 вагонов не трудно было достать. Часть из них находилась на шахте, остальные подтянули со станции.

Около 300 женщин домохозяек работали на погрузке угля день и ночь. Вражеские самолеты все чаще налетали на город. Ночью приходилось работать при свете шахтерок, а то и вовсе без света.

—Свое добро мы хорошо и без огня видим,—говорила Евдокия Федоровна.

Она иногда шутила и всегда сохраняла присутствие духа. Но всем было ясно, что матери очень трудно. Она работала наравне со всеми. Круглосуточная работа измотала ее, но Королева, как и все люди шахты, ни за что не хотела оставлять общее богатство врагу.

— Что не успеем вывезти, сожжем, а немцу не оставим!

Евдокия Федоровна похудела за эти дни еще больше. Лицо ее стало суровым и только глаза, одни светлые, ясные глаза, смотрели на людей тепло и ласково.

Как-то она сказала, задумавшись:

— Мне никак нельзя свалиться с ног. Всем нам надо жить. Каждый наш советский человек теперь—все равно, что лишний снаряд на голову супостата. Мы обязаны найти в себе силы жить и много трудиться.

Вообще в эти дни Евдокия Федоровна стала неузнаваемой. Если прежде она дорожила каждой щепкой, то теперь вдруг стала жестокой и неумолимой ко всему чего нельзя было увезти с собой, что так или иначе должно попасть в руки врага. Все нужное, родное прежде, стало ненужным ей, потому что враг мог использовать его против ее родины. Она хотела сама, собственными руками уничтожить все, что нельзя увезти, и уничтожала, что могла и что нужно было.

Когда приближались дни эвакуации, а с копра все еще не были сняты шкивы, Королева с горечью заявила в шахткоме:

— Выходит, копер целехонький немцу подарим?

Ей об'ясняли, что все сразу нельзя сделать, но она и слушать не хотела.

— Не успеваете? Мои бабы сделают.

И в тот же день дружным усилием женщин с копра были сняты огромные шкивы стянуты в канаву и засыпаны землей.

— Вернемся—пригодятся.

Первый эшелон с углем был отправлен уже спустя несколько дней, но вагонов все в меньшем количестве поступало со станции. А угля было еще много. Он огромными буртами тянулся по обе стороны железнодорожного полотна. Королева, тревожась, что не успеют вывезти это добро, часто ходила к заведующему шахтой, беспокоила, тормошила его. Но заведующий и без того разрывался на части, „Как говорил он", не успевал всего делать. Евдокия

Федоровна видела это и стала сама ходить в трест. Там ее хорошо знали.

Когда она входила в кабинет начальника треста, тот поднимал на нее усталый взгляд, говорил всегда одни и те же слова:

—Опять за вагонами пришла! Но ведь ты же у меня не одна. Десятки шахт у меня, мать.

— А родина у нас с тобой одна, сынок, — перебивала его Королева .—Добро для нее мы обязаны сохранить сполна.

Вслед за первым эшелоном были нагружены и отправлены второй, третий... Теперь угля оставалось совсем мало. Но и этот нельзя оставлять врагу.

Фронт все приближался. По утрам и в тихие осенние вечера уже отчетливо слышна была артиллерийская канонада. Далекие зловещие сполохи пожаров, внезапные, похожие на зарницы, вспышки бомб окрашивали небо в тревожный багровый цвет.

В одну из таких ночей Евдокия Федоровна вместе со своими товарками подожгла остаток угля, который нельзя было увезти с собой в далекий тыл.

— Слава богу! Кажется, указание товарища Сталина мы с вами выполнили,—сказала она женщинам,—ничего ценного не оставили супостату.

XIV.

Поезд мчался по дорогам страны, оставляя за собой родные донецкие места. Уже не встречались терриконы, копры. Пейзаж менялся с каждым днем, с каждым часом. Евдокия Федоровна ехала в одном вагоне с активистками-домохозяйками в глубь страны. Она решила не расставаться с ними. В вагоне было до тридцати семей.

Иногда поезд преследовали вражеские самолеты. Но к счастью, всегда выходило так, что он целым и невредимым проносился полями через сумрачные, осенние леса.

Неожиданный налет вражеского истребителя на мирный эшелон, где-то уже далеко за донецкой землей, на всю жизнь запомнился Евдокии Федоровне. Стервятник появился с высоты из-за огромного белоснежного облака и ринулся к земле, к тому месту, куда вот-вот должен подойти поезд. Королева с тревогой наблюдала за вражеской стальной птицей через полуоткрытую дверь вагона. Казалось, еще одна секунда, и самолет врежется в паровоз. Но вот грохот вне-

запного взрыва оглушил Евдокию Федоровну. Она невольно закрыла глаза, спряталась за дверь, прижимаясь к ней всем телом. Поезд, ускоряя бег, промчался сквозь густое облако пыли невредимым.

Королева снова выглянула за дверь. Самолета нигде не было видно. Но уже через минуту нарастающий гул где-то вверху снова стал шириться заглушая нетерпеливый стук колес. За ним последовала длинная пулеметная очередь. Но поезд шел все так же, не замедляя бега.

Неожиданно из-за леса появился еще один самолет. Евдокия Федоровна чуть было не вскрикнула от радости. Это был наш—советский ястребок. Две большие красные звезды ярко выделялись на его упругих широких крыльях. Он зачем-то покачал ими над поездом, как бы балансируя на невидимом канате, и тотчас же стремительно взмыл в небо. Спустя минуту люди, высунувшись из дверей и окон вагонов, с замиранием сердца наблюдали, как две стальные птицы сцепились в драке. Поединок продолжался несколько долгих минут. Самолеты гонялись друг за другом, не отставая от поезда, будто хотели, чтобы их жестокую схватку все могли видеть. Самолеты то падали вниз, вращаясь, то летели навстречу один другому с такой головокружительной быстротой, что замирало сердце.

И, наконец, произошло то, чего все ожидали и что каждый запомнил на всю свою жизнь. Фашистский самолет, точно налетев на каменную стену, вдруг на секунду замер в воздухе, встрепенулся весь и, охваченный пламенем и дымом, ринулся к земле. Все видели, как длинная, почти солнечная, струя трассирующих пуль протянулась от красно-звездного ястребка к подбитой вражеской машине.

В Караганде Королевой больше не приходилось видеть немецких самолетов. Они бессильны были залетать в этот далекий край. Но поединок, закончившийся победой советского летчика, навсегда остался в ее памяти. Он вселил в нее еще большую уверенность в том, что этот поезд, который везет их далеко от Донбасса, снова примчит ее в родной край.

— Битому быть фашисту, бабоньки. Жестокому возмездию быть!—говорила она женщинам.

Сосредоточенный, полный какого-то истребительного огня взгляд ее все, кто был тогда в вагоне, как и поединок в воздухе, запомнили на всю жизнь.

XV.

В Караганде рабочие и работницы, как и на родной шахте, называли Евдокию Федоровну Королеву:—Мать. Родная Королиха.

Уже на второй день приезда на шахту № 20-бис Королева собрала домохозяек. В небольшом деревянном клубе было тихо, несмотря на то, что собралось более трехсот женщин. Общую тишину лишь изредка нарушал крик ребенка и то не надолго.

Евдокия Федоровна знала, что многие из женщин недавно отправили на фронт кто мужа, кто сына, и жгучая горечь расставания еще угнетала душу, сосала под сердцем. У некоторых людей от этой нестерпимой тоски все валится из рук, все становится постылым. Это хорошо понимала старая солдатка Королева.

— Ну что ж, бабоньки, будем тужить или за работу браться?—спросила она, обводя присутствующих изучающим, настороженным взглядом.

— Ты говори, мать, что надумала. Тужить—при немце жить. А немца бить—что радость пить. Для того и собрались.

Евдокия Федоровна не успела заметить, кто из женщин сказал эти слова, но она сразу же поняла, что ее опасения были преждевременны и напрасны. Женщины за тем и собрались, чтобы сообща решить, как лучше помочь фронту. И Евдокия Федоровна заговорила уже более уверенным, твердым голосом. Она призывала домохозяек итти в шахту. Это был тоже фронт. Безопасный, но большой, напряженный бой с врагом. Она так и говорила:

— Здесь, на шахте, мы будем воевать с немцем, бабоньки. Своим усердным трудом будем драться с супостатом.

Ее горячий призыв нашел отклик. Уже на следующий день на шахту пришло работать более ста домохозяек. Евдокия Федоровна организовала бригады и стала обучать новичков шахтерскому труду. На шахте не было такой специальности, которую бы не знала старая горнячка. Ей было чему учить женщин.

Уже в течение первой недели благодаря Королевой хорошо освоили профессию навалоотбойщика домохозяйки: Муханова, Рахабаева, Макажанова и другие. Они ежедневно выполняли свою производственную норму на 150—200 про

центов. Сама Евдокия Федоровна—шестидесятитрехлетняя женщина—также работала навалоотбойщиком.

Угольный пласт на шахте № 20-бис был мощностью в два метра. Таких пластов в Донбассе нет. И Королева часто говорила землячкам, вспоминая родной край:

—Такие бы пласты Донбассу! Засыпали бы страну угольком...

Но и здесь для нее была родина, одинаково дорогая, близкая сердцу. Было похоже, что эта беспокойная пожилая женщина прожила здесь всю свою жизнь. Она постоянно общалась с людьми, одним давала добрые материнские советы, другим строго внушала. Уже спустя месяц все знали Евдокию Федоровну, все к ней обращались за помощью, за добрым словом.

— У матери—Королихи всегда теплое слово найдется для человека.

— Матуся всегда поможет,—говорили о ней.

Трудной была жизнь на шахте в те военные годы. Во всем чувствовалась нужда: не хватало продовольствия, жилья. Работать приходилось по две смены в сутки. Фронт с каждым днем требовал все больше угля. И его надо было давать, несмотря ни на что.

— Не горюйте, бабоньки,—говорила Королева женщинам. —Всем теперь трудно. И мужьям нашим и сыновьям на фронте тоже не легко под пулями да под снарядами.

И женщины, не покладая рук, работали в шахте наравне с мужчинами. Они понимали, что здесь, в тылу, был тоже фронт и от этого фронта многое зависело.

Евдокия Федоровна весь свой опыт общественной работы в Донбассе перенесла на шахты этого далекого советского края. За сравнительно короткий срок она силами жен-активисток построила детские ясли, площадку, оборудовала клуб, навела образцовый порядок в общежитиях и столовых. Как и прежде, она организовывала погрузку угля и отправку его на заводы.

— Ты бы, мать, занималась общественной работой,—говорил ей заведующий шахтой Даниил Емельянович Кузин,— а забой бы оставила. Тяжело, небось, не молодая ты.

— Я сильная. На фронте тоже тяжело, — отвечала Королева.

Но было ясно, что ей очень трудно работать в забое.

Вскоре уже на других соседних шахтах знали про Евдокию Федоровну Королеву. К ней приезжали советовать-

ся, как лучше организовать массовую работу среди трудящихся поселков, заимствовали опыт лучших угольных женских бригад. Бывало, что она сама выезжала к соседям, „поднимать“, как говорила, солдаток на большой труд.

О самоотверженной работе советской патриотки знали и воины на многих фронтах. Ее пример неутомимого труда звал советских солдат и офицеров к беспощадному возмездию. Евдокия Федоровна почти ежедневно получала письма от бойцов и командиров. Они писали ей, идя в бой, и после боя. Письма эти всегда адресовывались на имя Королевой, но она отлично знала, что чувства и мысли воинов, выраженные в них, относились ко всем женщинам-труженицам. Письма эти Евдокия Федоровна читала в бригадах, на сменных рабочих собраниях; они переходили из рук в руки, и даже печатались в местных газетах.

Однажды Евдокия Федоровна приболела и не вышла на работу. В тот же день об этом узнали работницы шахты и пришли навестить ее. Но им так и не удалось войти к ней в комнату. Королева встретила женщин на пороге. На ней была неизменная белая косынка, повязанная по деревенскому обычаю, свеже выстиранная, в темную полоску кофточка. По всему видно было, что мать чем-то озабочена, куда-то торопиться. Под глазами у ней залегли густые тени недомогания.

— Опоздали вы, бабоньки, я уже выздоровела, сказала она слабым голосом.—Да и хворать теперь не время.

Она извлекла из кармана письмо и подала его товаркам.

— Читайте да будем сообща решать, что делать. Это был маленький, аккуратно свернутый треугольник с обозначением полевой почты. Ясно было, что письмо с фронта.

Писал майор Соколов.

„Дорогая мать!

Я и мои бойцы восторгаемся трудовыми подвигами ваших женщин. Мы знаем, что все вы там, в глубоком тылу, трудитесь, не жалея ни сил, ни здоровья, только бы поскорее уничтожить ненавистного врага. В минувшем тяжелом бою, который длился почти целые сутки, мы все же победили врага“.

„Этот наш фронтовой успех, — писал далее майор, — мы всем батальоном решили посвятить вам—матерям, женам и

сестрам, которые своим трудом помогают нам бить фашистов. За время двухлетней жестокой войны в нашей родной стране осталось много сирот. Мы от всей души просим вас—не оставляйте их без внимания, окружите заботой и лаской, создайте им уют, замените им матерей и отцов. Ради их жизни, их будущего счастья мы проливаем свою кровь, мужественно переносим фронтовые невзгоды. Это наши дети. Любите их, дорожите их здоровьем и жизнью".

Письмо это до слез растрогало женщин.

В тот же день об этом письме все уже знали на шахте. А утром оно было напечатано в газете вместе с призывом активисток шахты № 20-бис ко всем трудящимся Караганды под заголовком: „Окружим материнской заботой детей фронтовиков".

За короткое время с помощью Евдокии Федоровны на шахте № 20-бис было собрано 170 тысяч рублей для создания сиротских домов. В целом же по Караганде в этот фонд поступило от трудящихся полтора миллиона рублей. Но эти средства на шахтах Караганды было выстроено несколько сиротских домов. Значительно позже такой же дом был выстроен в городе Чистяково (Сталинская область). Ему дали название „Активистки Караганды".

Евдокия Федоровна, несмотря на слабое здоровье, сама проверяла, как благоустраиваются детские дома, организовывала подарки для сирот. Эта добрая, ласковая бабушка стала любимицей детей. Они всюду встречали ее шумно, с восторгом, как птицы встречают рождение утра.

Разве это не настоящее счастье для трудовой женщины! Разве ради этого станешь считаться с преклонными годами, с тем, что тебя иногда одолевает недуг и, кажется, вот-вот прикует к постели!

Детство! У нее оно всегда было безрадостным, неуютным. Но Евдокия Федоровна знала, каким оно должно быть и каким было до войны у наших советских детей —счастливым и радостным.

XVI.

Поезд шел в Донбасс. Он проходил уже знакомыми местами. Вот лес, поле, такое широкое, что не окинешь взглядом. Вот и то место, где три года тому назад в смертельной схватке бились две стальные птицы. Евдокие Федоровне временами все еще казалось, что вот-вот из-за белого

большого облака покажутся самолеты, и их нарастающий гул оглушит ее. Но весеннее небо было чистым, спокойным. Королева знала, что врагу никогда уже не летать в этих родных краях, не пятнать своими черными крыльями ясного голубого неба. Это радовало ее. Но сердце матери всякий раз обливалось кровью, когда перед ее глазами пробегали развалины полустанков и станций, испепеленные села, разрушенные города. Было похоже, что здесь прошла неистовой силы буря и все уничтожила на огромном пространстве.

Евдокия Федоровна знала о зверствах немцев, не сомневалась, что они мастера погулять на чужой земле. Но то, что она увидела, превзошло все ее предположения.

* * *

Шахта № 30. Поселок Рутченково. Шахта затоплена, все надшахтные здания разрушены. В некогда красивом поселке сожжены почти все дома. Уничтожены клуб, больница, рабочие общежития, трамвайная линия, связывающая поселок с городом Сталино. Сколько упорного труда затрачено было на все это! Все, что строилось десятками лет,— превращено в руины.

Домик в котором до войны жила Евдокия Федоровна Королева каким-то образом уцелел. Это было просто чудо. Но это не особенно радовало ее. Она видела, что десятки семей шахтеров остались без крова. А главное—мертвой была шахта. В эти дни Королева, может быть, впервые за долгую жизнь подумала о своих преклонных летах. Ей было шестьдесят пять лет. Хватит ли у нее сил снова включиться в работу, сумеет ли она, как бывало прежде, мобилизовать свой актив домохозяек на большой труд по восстановлению всего разрушенного?

Однажды на общем собрании рабочих заведующий шахтой, докладывая о планах восстановительных работ, сказал:

— Мы с вами обязаны пустить шахту в самый ближайший срок. А пока что...

Он подумал:

— А пока что мы имеем на шахте всего лишь одну лопату.

Рабочие слушали заведующего молча. Он говорил правду. На шахте, действительно, не было ни лопат, ни ламп, не говоря уже об отбойных молотках. Общее молчание показалось Евдокии Федоровне слишком угнетающим. Как

будто, положение и в самом деле было безвыходным. Но она знала, что выход есть. Знал об этом, конечно, и заведующий шахтой.

— Неправда, что у нас одна лопата,—сказала она, проходя к столу. Все провожали ее приветливым взглядом. Евдокия Федоровна видела, как и заведующий шахтой чему-то радостно улыбнулся.—Есть у нас и лопаты, и буры, и отбойные молотки. У каждого в доме что-нибудь да сберегло́сь.

В тот же вечер Королева собрала у себя на квартире женщин-активисток и тогда же было решено организовать сбор шахтного инструмента. Уже на другой день было сдано 120 грабарок, 115 породных лопат, 150 шахтерских лампочек, много отбойных молотков, буров, шпуров, зубков. Это был первый, незаменимый в то время вклад в дело восстановления шахты.

Тогда же Евдокия Федоровна снова почувствовала в себе силы и в душе упрекала себя за то, что испугалась своих преклонных лет, боялась, что не сумеет с прежней энергией включиться в новую большую работу.

В первые же дни приезда в родной поселок Королева организовала бригаду женщин-активисток в помощь горнякам по восстановлению шахты. В эту бригаду вошли матери-шахтерки, сыновья которых погибли в боях, за советскую Родину. Это были Фролович Домна Павловна, Осипенко, Костенко, Тишаева и многие другие. Всего в бригаде насчитывалось свыше 50 человек.

Женщины не отказывались ни от какой черной работы. Вначале они работали, главным образом, по закладке фундамента для шахтного копра и под'емной машины. Копер был взорван немцами и место, где он когда-то стоял, было изуродовано, захламлено. Когда Евдокия Федоровна осмотрела участок, где должны были работать женщины, у нее больно сжалось сердце. Но она постаралась скрыть это свое чувство от товарок.

— Много работы у нас, бабоньки,—сказала она. — Доведется работать и днями и ночами. Как думаете, справимся с делом?

— Справимся, мать,—отвечали ей. — Шахта, ведь, не чья-нибудь, а наша родная. Жить ей да жить...

В то время где-то далеко за Днестром шли жестокие бои с немецкими оккупантами. Но и здесь, на этой шахте, как всюду в Донбассе, разгорался не менее упорный бой

горняков за восстановление своего разрушенного хозяйства. Партия, правительство и лично товарищ Сталин сразу же, как только были изгнаны немцы с Донбасса, проявили исключительную заботу о нем и его героических тружениках. Шахты получали все новое оборудование, коллектив горняков пополнялся новыми людьми, в которых Донбасс в то время ощущал необычайную нужду.

Горняки хорошо знали, что их край всегда был для товарища Сталина, для всего советского народа родным, важным индустриальным центром. Таким он остался и впредь будет таким. Это поднимало боевой дух шахтеров, давало им новые, невиданные силы, звало к трудовым подвигам.

Евдокия Федоровна Королева, когда бывало трудно (нехватало продовольствия, а приходилось работать по целым суткам)—говорила женщинам:

— Не тужите, дорогие! Конец войны уже видать. Снова заживем. Сталин любит горняков. В обиде не оставлял и не оставит их.

Женщины трудились, не считаясь ни с временем, ни с силами. Они своими руками вырыли котлован для копра. Было поднято сотни кубометров земли. Когда надо было закладывать фундамент, оказалось, что на месте нет извести, песка и дробленого камня. На шахте не уцелела ни одна камнедробилка. Где взять все это? А время не ждало. Фундамент надо было закладывать. От этого зависел своевременный пуск шахты.

Как-то, когда уже работы по рытью котлована близились к концу, Евдокия Федоровна собрала бригаду. Все догадывались, что мать придумала что-то новое, важное и хочет посоветоваться.

— У кого из вас есть дома тачки?

Женщины, не понимая еще в чем дело, недоуменно переглянулись.

— Я спрашиваю, у кого есть тачки?—уже более настойчиво повторила она, заметив на лицах женщин удивление.

Тачек оказалось около десяти.

— Маловато,—подумав, сказала Евдокия Федоровна,—но на первый случай и это транспорт.

И тут же рассказала женщинам, зачем ей понадобились тележки. Как оказалось, на шахте № 2—7 „Лидиевка" имелись известь, песок, необходимые для закладки фундамента. Евдокия Федоровна успела уже побывать на этой шахте, догово-

рилась обо всем и теперь оставалось только доставить на место весь этот строительный материал.

— Это шесть километров, бабоньки. Не близкий путь. Но выхода другого у нас нет. Доведется впрягаться и вывозить...

Уже на другой день необычная транспортная колонна направилась на шахту № 2—7 „Лидиевка". Часть женщин Королева оставила дробить камень.

День и ночь возили домохозяйки песок и известь. Часто впрягалась в тележку и шестидесятипятилетняя Евдокия Федоровна.

Когда строительного материала накопилось столько, что можно уже было приступить к закладке фундамента для подъемной машины и копра, Королева создала опять же из женщин-активисток бригаду каменщиков. Многие на шахте удивлялись—откуда только у домохозяек такие способности. Делали они фундамент прочный и с таким знанием дела, что любой опытный каменщик мог бы позавидовать им.

— Тот, кто любит свою шахту, свою родину,—говорила Евдокия Федоровна,—тому у нас и инженером не долго стать, не только каменщиком.

Когда оба фундамента были готовы и комиссия пришла проверить, хорошо ли выполнена работа, Евдокия Федоровна сказала инженеру-строителю:

— Вы поблажки нам не давайте. Попридирчивее присматривайтесь. Ведь фундамент не на месяц и не на год закладывали. На века.

Комиссия признала работу отличной. Заведующий шахтой вынес благодарность бригаде Королевой. Тогда же, выступая на собрании горняков, Евдокия Федоровна в своем кратком ответном слове сказала:

— За благодарность—спасибо вам, товарищ заведующий. А вот что нам дальше делать—так ничего и не сказали.

А может быть нам отдохнуть позволите?—добавила она, и все заметили, как в ее глазах вспыхнули хитроватые огоньки.

Заведующий не нашел что ответить, промолчал.

— Не до отдыха теперь нам,—сказала Королева.—Я уж придумала, что нам—горнячкам делать...

* * *

Когда-то до войны чистый просторный шахтный двор за время оккупации был захламлен до того, что в нем негде

было ни пройти, ни проехать. Евдокия Федоровна сразу же, как только были закончены работы по закладке фундаментов для копра и подъемной машины, организовала бригады из женщин-активисток по очистке шахтного двора. Женщины снова с прежним старанием работали целыми днями.

Но такой уж характер у старой горнячки: не закончив одну работу, она уже подыскивала новую. А работы было хоть отбавляй. Немцы натворили столько бед, что трудись день и ночь—все равно всего не переделаешь, не залечишь сразу глубоких ран.

Уже в первые дни после изгнания немцев из Донбасса, советское государство отпустило миллионные средства на восстановление разрушенного шахтного поселка Рутченково. Началось строительство новых домов, восстановление разрушенных и сожженных. В поселке был всего один магазин. Это вызывало очереди за хлебом и другими продуктами. Королева неоднократно слышала на рабочих собраниях оправдательные жалобы работников торговой сети на отсутствие помещений.

В поселке восстанавливали не все дома. Были и такие, к которым еще не дошла очередь. К ним относились, главным образом, самые пострадавшие. У некоторых не уцелели даже стены, не то что крыши или окна.

Когда Евдокия Федоровна организовала из женщин-домохозяек бригады для постройки нового магазина, многие не поверили в эту „затею". Дело это казалось неосуществимым, так как строительного материала нехватало для более важных и неотложных работ. Но женщин это не остановило. Из опыта они уже знали, что при желании все можно сделать.

— Не унывайте, бабоньки,—как и всегда утешала Королева своих товарок,—камень у нас есть, сил достаточно и дерево найдем.

Женщины верили ей. Они знали, что на мать можно вполне понадеяться. Раз уж она задумала что-либо сделать, то сделает непременно. В этом они убеждались неоднократно.

На работе по строительству нового магазина не было ни одного мужчины. Им хватало работы и на шахте. К тому времени уже был сдан в эксплоатацию один шахтный участок. Первые тонны угля поступили на-гора. Это было начало жизни шахты № 30, ее первое дыхание.

Новый магазин был отстроен в течение нескольких месяцев. Очередей не стало.

Без активного участия женщин-общественниц почти ничего не делалось ни в поселке, ни даже в самой шахте. Они помогали ремонтировать и строить новые дома, насаждали деревья, разбивали цветники и клумбы, попрежнему работали на погрузке угля. Когда на шахту стали прибывать новые рабочие из Винницкой, Полтавской, Киевской и других областей Украины, горнячки окружили их поистине дружеской заботой. Многие новички впервые увидели шахту. Некоторых она пугала своей неизвестностью. Евдокия Федоровна часто говорила домохозяйкам, которые шефствовали над общежитием:

— Вы подоброе да поласковее относитесь к молодым рабочим. Ведь они еще не привыкли к шахте и людей наших хорошо не знают.

Женщины, действительно, по-матерински относились к новичкам. В короткое время они привели в образцовый порядок все общежития: побелили их, помыли полы. Когда сделали на окнах занавески, женщинам захотелось поставить у кроватей тумбочки. Заведующий шахтой во всем шел им навстречу.

Сделали тумбочки—захотелось, чтобы были графины с водой.

Приобрели графины—захотелось, чтобы были цветы на окнах.

Появились цветы—возникло новое желание: достать различные игры, провести в красный уголок радио, организовать библиотеку.

И это было сделано.

Королева неотступно следила за работой своих шефских бригад.

Теперь в общежитиях чисто, уютно и шахтеры говорят с благодарностью:

— Во всем чувствуется ласковая рука матери-Королихи. Спасибо ей родной.

Евдокия Федоровна и сейчас еще почти ежедневно проводит беседы среди молодых рабочих. Особенно много она работает среди девушек. И не только беседует с ними на различные темы, но и обучает шахтерским профессиям. Вот что сказала о Королевой молодая работница камеронщица Мария Мельникова:

— Летом 1944 года я приехала с группой девушек из Винницкой области на шахту № 30. В июле я уже работала камеронщицей. Вначале тяжело было и, откровенно го-

воря боязно. Бывало выйдешь из шахты, и разные мысли в голове—сомневаешься: остаться ли на шахте или уехать домой. Как раз в такую минуту и подойдет, бывало, ко мне Евдокия Федоровна и, как родная мать, обнимет, поговорит, посоветует. После этого станет легче на душе и хочется работать и работать.

Так говорят о Евдокии Федоровне все молодые шахтеры.

За свой честный самоотверженный труд Евдокия Федоровна Королева награждена орденом „Знак почета", медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г." и значком „Отличник социалистического соревнования угольной промышленности".

Трудящиеся шахты № 30 единодушно избрали старейшую горнячку, верную дочь народа депутатом Сталинского областного Совета депутатов трудящихся.

***

Когда выезжаешь из города Сталино, по широкой улице мимо клуба Ленина, тянется трамвайная линия. Где-то на взгорье дорога сворачивает вправо и уходит на Рутченковский поселок. Это большой рабочий городок. До войны в нем жило несколько десятков тысяч трудящихся. Здесь было много двухэтажных и трехэтажных домов. Дворец культуры, просторная светлая больница. Фашистские варвары разрушили все это. Но вот прошло каких-нибудь два с половиной года, и шахтный городок снова поднимается из развалин. Здесь всюду, куда не кинешь взглядом, кипит стройка.

Неузнаваемым стал и поселочек шахты № 30. Здесь восстанавливаются и вновь строятся жилые дома. Трамвайная линия снова подошла к поселку. Одна из трамвайных остановок—неподалеку от дома Евдокии Федоровны Королевой. Эту остановку так и назвали шахтеры: остановка Королевой или дом № 24, хотя нигде в официальных документах это не засвидетельствовано.

Дом № 24. Это дом, в котором живет Королева. Его знают горняки всех окружающих шахт. Знают многие рабочие Горловки, Енакиево, Макеевки. В адрес этого дома часто поступают письма от домохозяек Смоленской, Курской, Киевской и других областей. Пишут Евдокии Федоровне со всех концов нашей Родины. Она всем отвечает, дает советы, делится опытом своей большой общественной работы на шахте.

Однажды, уже незадолго до всенародного праздника 30-летия Октября, Евдокия Федоровна, беседуя с молодыми горняками, сказала:

— Мне шестьдесят восемь лет, дети мои, но я еще сильная. Силу эту мне дает моя любовь к большевистской партии, к великому Сталину, моя преданность народу. Любите так, как я, свою советскую Родину, и вы всегда будете такими же бодрыми и жизнерадостными, как я. Всегда будете способны к большому труду.

Тогда же кто-то из молодых рабочих сказал:

— Живи, мать, сто лет! Ты нам очень нужна.

На глазах Евдокии Федоровны заблестела радостная слеза.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

воря бо
голове-
мой. Ка
Евдоки
рит, по
чется р
Так
За с
ровна
далью
не 194
ского с
Тру
горняч
ластно

Ког
мимо к
рье дор
селок.
ло нес
го дву
просто
все эт
да, и
валин.
стройк
Не
станав
ния ср
вок—
Эту о
вой и.
это не
Дс
знают
бочие
часто
ской,
ровне
дает
работ

Редактор Ф. БАЙДАЧЕНКО.

БП—18534 Заказ 7539 Тираж 7000 Об'ем 3,5 п. л.
Подписано к печати 22-XII-1947 г.

Типография № 3 Облполиграфиздата, г. Макеевка

Цена 2 р. 50 к.

4-11